

18+

Сергей Анатольевич Петушков

Бриллиант «Dreamboat»

...есть сов
...округ
...дурака в...
...могу... азопре...
...тка... пролет... и нет... Все п...
...модь... гр... об... сов... не ме...
...с... г... ол... во...
...звали того офицера контр...
...еся Алексеем Симеоновиче...
...фа... и...
...почему вы та... решили?

Ответ: Не могу объяснить! Тонкая душа поз...
...словами!

Вопрос: С кем вы связывались?

Ответ: В Новоелизаветинске я встречался с...
...трактуре Солодовникова на Казань... Я пер...
...Симеоновича, от него получал ин...струкции.



Сергей Петушков

Бриллиант «Dreamboat»

«Издательские решения»

Петушков С. А.

Бриллиант «Dreamboat» / С. А. Петушков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-988222-6

Какие только несчастья не переплелись в истории бриллианта «Dreamboat»: проклятия, кражи, загадочные смерти, разводы, сумасшествие, публичные казни и многое другое. 1918 год, Гражданская война в России. Офицеры контрразведки, сотрудники ВЧК, разведчики и просто авантюристы — все стремятся добраться первыми до знаменитой драгоценности. Кому же из них улыбнётся госпожа удача? Или дело вовсе не в бриллианте?

ISBN 978-5-44-988222-6

© Петушков С. А.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава 1	13
Глава 2	16
Глава 3	27
Глава 4	37
Глава 5	40
Глава 6	46
Глава 7	52
Глава 8	57
Глава 9	60
Глава 10	68
Глава 11	70
Глава 12	74
Глава 13	77
Глава 14	87
Глава 15	89
Глава 16	96
Глава 17	99
Глава 18	106
Конец ознакомительного фрагмента.	109

Бриллиант «Dreamboat»

Сергей Анатольевич Петушков

© Сергей Анатольевич Петушков, 2020

ISBN 978-5-4498-8222-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

– К кому-с, товарищ? – пожилой господин был невысокого роста и весьма полноват, глаза невыразительные, выпученные, как у попавшей на берег рыбы. Багровое одутловатое лицо щедро украшено россыпью морщин, словно печёное яблоко. Тонкая ниточка усов неестественно чернильного цвета, длинные острые кончики закручены вертикально вверх, закручены безупречно-идеально, ни один волосок не выбивается. Этими необычными поэтическими усами мужчина явно гордился, ухаживал тщательно, лелеял и холил, невзирая на войны, и революции. Неважно белые, красные, зелёные сейчас в городе, не важно, что некогда весьма изысканный и изящный сюртук староват, кое-где протёрт, рукава виновато блестят, выше локтя микроскопическая, неприметная дырочка. Усы – это символ! Символ джентльмена, утонченной мужественности, элегантности, некоей эксцентричности. К нему очень хотелось обратиться: «милостивый государь», но Северианов лишь дружелюбно улыбнулся и сказал:

– Добрый день! Я бы хотел повидать Константина Васильевича. Деулова.

– Увы! – владелец необычных усов с деланным прискорбием опустил глаза вниз. – Константин Васильевич сейчас в отъезде, могу ли я заменить его?

– А вы?..

– Его брат. Двоюродный. Как изволят выражаться французы – кузен...

Пальцы левой руки пучеглазого господина непроизвольно принялись подкручивать вертикальный конец правого уса, затем проделали ту же манипуляцию с левым. Северианов изобразил на лице задумчивое выражение, не предпринимая, однако, попыток войти внутрь, заговорил с легкой неуверенностью:

– Прошу не понять меня превратно, в прошлом году здесь изволили гостить Иннокентий Михайлович Любецкий, может быть, Вы даже слышали об этом. Так вот, он нижайше рекомендовал мне обратиться к Константину Васильевичу по поводу одного, так сказать, предельно деликатнейшего дела.

– Хм... Любецкий? – масляные глазки усатого кузена до неприличия выползли из орбит, и сходство с рыбой усилилось. – Кажется, припоминаю-с. Только разве он Иннокентий Михайлович? По-моему, товарища Любецкого звали Фёдором Каллистратовичем...

Ключевая фраза была произнесена. Фамилия Любецкий в сочетании с именем-отчеством Фёдор Каллистратович гарантировала собеседникам, что всё в полнейшем порядке. Пароль и отзыв. Секретные слова для опознания своих. Бояться нечего и некого.

Однако хозяин квартиры боялся. Боялся, хоть голос и оставался спокойным, но... Но легкая испарина предательски проступила на лбу, но нервозно задрожали кончики пальцев правой руки, а взгляд сделался размытым, несфокусированным. Северианов мгновенно почувствовал этот испуг, эту оторопь, боязнь, дрожь – господин с эксцентричными усами был явно личностью творческой и zelo впечатлительной – артист, музыкант, может быть, живописец. Ничтожно мало походил он на конспиратора-заговорщика или опытного бойца, привыкшего к нестандартным ситуациям и прочим крамолам и тайным козням. Он и к *Организации* примкнул, вероятно, вынужденно, а может быть, заставили – вот и трясётся как лист, опасаясь даже тележного скрипа. Вопрос в другом: боится ли он вообще, беспредметно, умозрительно, отвлечённо, или боится чего-то конкретного? От ответа на этот вопрос зависело многое, а может быть, всё.

– Антон Савельевич, – представился хозяин квартиры, наклонив голову и явив идеально напыженный пробор. – Извольте, – он посторонился, пропуская Северианова.

Прихожая была небольшая и если когда-то и богато обставленная, то теперь явно потеряла былой лоск, блеск, изысканность, превратившись в пыльную каморку. Потемневший колорит стен, старое зеркальное трюмо, тусклый абажур, одиноко висящее пальто. Если что

и являлось украшением – так это множество фотографических карточек, чёрно-белой мозаикой осыпавшей стены. Геометрическая монументальность архитектурных композиций, плавность линий и тончайшая игра светотеней соседствовали здесь с жанровыми зарисовками и классическими фотопортретами. Величественный панорамный кадр Тверской площади царственно нависал над полувспаханном полем, где хозяйствовал мелкий мужичонка в толстовке, по самые глаза заросший бородой. Он снисходительно управлял плугом, рядом придерживала лошадь под уздцы женщина в сарафане, вероятно, супруга мелкого пахаря, а две согбенные бабы возрастом постарше что-то выбирали из земли в корзины. Вид на Знаменскую церковь на Невском проспекте, Шереметьевская богадельня и Большой театр расположились в ряд. Над ними степенно шествовала по деревенской улице девушка с коромыслом через плечо. Завёрнутая в платок по самые глаза женщина торговала разноразмерными глиняными горшками. Два босоногих, зато в купеческих картузах мужичка неудачливого вида блаженно развалились на траве у самовара. Правее – застывшие минуты промелькнувшей жизни, отображения ушедшей прелести, великолепия внутреннего мира. Четверо весёлых, жизнерадостных девушек с трудом сдерживают улыбки, неуклюже пытаются придать лицам серьёзный вид в казённом интерьере фотографического ателье. Юная красавица загадочно смотрит в объектив фотокамеры, словно напоминая, что красота, к сожалению, не вечна, а прекрасные моменты ускользающе мимолётны. Бочкообразный военный с тараканьими усами, в фуражке, окружённый дюжиной сестер милосердия. Импозантно-степенный вид на Кремль с Замоскворецкой набережной. Дородный господин с солидной купеческой бородой, неуловимо похожий чертами лица на хозяина квартиры. Грациозные дамы в муфтах под вывеской «магазин Ломахина». Почтенный муж характерного профессорского обличья с двумя малолетними девчушкам за столом. Жмурящаяся от удовольствия собака. В самом низу карточки, рядом со штампом «Фотографическое заведение И. В. Куркина, Малый Губернский пр. 40» от руки написано синим чернильным карандашом: «Любимцу Венеры один год, 17.08.1915».

– Меделянка¹? – восхитился Северианов. – Ваша?

Антон Савельевич недоумённо посмотрел на Северианова, потом неуверенно кивнул.

– Д-да, наша-с. Брата двоюродного. Его собачка.

– Замечательный пёс! Как зовут? – продолжал выказывать восхищение Северианов.

– Трезор, – с какой-то отчаянной безнадёжностью, обречённо даже сказал хозяин квартиры, избегая смотреть на Северианова.

– И где же он? Хозяин с собой забрал?

– Н-н-нет, – выдавил владелец эксцентричных усиков. – Трезорка совсем старый был, недавно издох, аккурат перед революцией.

– Прискорбно, – с грустной печальностью вздохнул Северианов. – Весьма прискорбно, Антон Савельевич! Примите, так сказать, мои соболезнования.

Рассматривая фотографии, Северианов машинально извлёк из нагрудного кармана изящный серебряный портсигар с золотыми накладками, вставками из драгоценных камней и сложной детальной гравировкой. На лицевой стороне верхней створки выпуклый позолоченный всадник в островерхом богатырском шлеме схватился насмерть со Змеем Горынычем. Однако не смотря на печальную известность главного сказочного злодея, выражение его, если можно так сказать, *лица* было весьма добродушным и миролюбивым, по странной иронии значительно добрее яростной физиономии богатыря. Микроскопические бриллиантики глаз озорно подмигивали, а чешуйчатый хвост отдавал воинское приветствие. Затеяливо переплетённые узорчатые ветви деревьев образовывали монограмму «НС», а орнамент в виде мелких цветочных розеток, чешуек и листьев покрывал всю внешнюю поверхность. Запор оглушительно щёлк-

¹ Меделянская собака, меделянка – одна из самых крупных пород: большеголовая, тупорылая, гладкошёрстая; статями напоминает бульдога.

нул, Северианов размял папиросу, легко стукнул несколько раз мундштуком о распахнутую пасть Змея Горыныча, затем, словно спохватившись, протянул раскрытый портсигар хозяину.

– Угощайтесь, Антон Савельевич.

– Весьма благодарен, но, увы, не употребляю-с. Некурящий.

– Прошу прощения, – смутился Северианов и убрал папиросу обратно за металлический поясок. – В таком случае, я, вероятно, тоже воздержусь.

– Отчего же, курите-с, – сказал хозяин. – Аромат хорошего табака весьма приятен-с. У меня курят все, кто имеет такое желание, я не препятствую.

Кончиками пальцев левой руки он вновь аккуратно подкрутил вверх вершины своих великолепных усов.

Потянуло сквозняком, запахом упадка, скудной еды, махорки и прогорклого масла. Северианов сделал шаг вглубь – и мгновенно понял: его ждут. Ждут давно, вероятно, квартира обложена. В таком случае на улице также ждут и наверняка сверху и снизу тоже. Отступить поздно, надо идти вперёд, пробовать прорваться. Итак, где же они? Северианов шагнул вправо-вперёд, одновременно посмотрев вниз-влево. Ну да, вот они, носки стоптанных ботинок, коварно вытарчивающие из-за дверного проёма. Их обладатель полагает, что его не видно – и его действительно не видно, если заходить в комнату как обычно, как заходит разумный, здравомыслящий и неискущённый человек. А вот если чуть отступить в сторону и смотреть вниз – обувь первой обнаруживает засадника. Со всеми, так сказать, потрохами. Так-так, где остальные? Второй, вернее всего, затаился справа от двери, ещё несколько человек в соседней комнате. На лестницу отступить – не вариант – там ждут, а вот с этими горе-засадниками можно и поиграться. Северианов помедлил секунду, буквально чувствуя, ощущая каким-то иным чувством, интуицией, инстинктом даже, как неодолимо-отчаянно заволновался усатый господин, и как напряглись за дверью.

– Вы один? – спросил Северианов, делая подшаг влево и, по-прежнему, смотря вниз.

– Один! – выдохнул усатый, и взглянул обречённо, вымученно: мне очень стыдно, не сам я, не хотел, заставили... Жить всем хочется и, если уж не получается хорошо, то хотя бы просто жить...

В скудной полосе света, проникавшего через окно, пыльный шёлк казался не зелёным, а серым, а редкие волоски собачьей шерсти вьёвшимися намертво.

Северианов прошёл в комнату вслед за усатым. Нет, можно было, конечно, с длинным шагом вперёд – уйти вниз, одновременно выдёргивая наган, потом перекатиться через плечо в комнату. В тот же момент ещё в начале переката, держа револьвер горизонтально, выстрелить снизу вверх в поджидающего слева, а на выходе из переката – в того, что справа. Потом перевернуться, выцеливая дверь соседней комнаты – если бросятся, ворвутся, вломятся даже – шквальный огонь на поражение. Дистанция никакая, в барабане ещё пять патронов и не ожидают они его в полуприсяде! Времени на то, чтобы сориентироваться не будет!.. Но!.. Но если это свои? Просто страхуются на случай непредвиденности? Курили в комнате грубую солдатскую махорку? Так время такое, от нужды и махоркой не побрезгуешь. Другие странности, или, как говорил подполковник Вешнивецкий, демаскирующие признаки тоже при большом желании объяснить возможно. И стоит за дверью в настоящий момент какой-нибудь подпоручик Сперанцев, а напротив притаился бывший губернский секретарь, дворянин, пусть будет, Глухарёв-Сахаров, неумело и непривычно сжимает он в потных ладонях браунинг М1900 или маузер М1910 и мандражирует. Возможно? Вполне! Явку Северианову предоставили надёжную, проверенную, подполковник Василий Яковлевич Кунцендорф из контрразведки голову давал на отсечение...

Северианов шагнул вперёд и понял, что цена головы подполковника Кунцендорфа упала ниже ломаного гроша, просто до нуля. Ибо странного господина отбросили куда-то вбок, как вещь более ненужную, а на его месте словно из воздуха материализовались двое. Молодой,

явно наслаждающийся ситуацией матрос чувствовал себя неким былинным богатырем: Ильей Муромцем или Никитой Кожемякой. Бескозырка сбита на затылок, воротник бушлата расстёгнут, пулемётная лента опоясывает грудь крест-накрест. Глаза цепкие, хватистые, и в то же время, шальные, с лёгкой безуминкой. Тяжёлый маузер К-96 в поднятой руке кажется грозным оружием. Второй – дядька в возрасте, вида совсем не героического: обычное сильно выцветшее солдатское обмундирование, но матросика посерьёзней, опытный, наган держит вроде бы расслабленно, но выстрелить успеет раньше. И встал грамотно: сзади – сбоку от матроса, если вдруг что случится – сумеет напарником прикрыться и открыть огонь.

Ствол револьвера ткнулся между лопаток, а в затылок грозно выдохнули:

– Не двигаться, ЧК! Руки вверх!

«Ай-яй-яй – подумал Северианов, медленно поднимая руки и оглядываясь назад. – Какой казус приключился! Эх, Василий Яковлевич, Василий Яковлевич, господин подполковник...»

В спину ему упирался наганом совсем мальчик, ему не то, что восемнадцати, ему и семнадцати, наверное, ещё не исполнилось. Сжимавшая револьвер рука дрожала, пот лил струйками из-под козырька фуражки. Северианов даже улыбнулся ему успокаивающе, повернул голову, выискивая глазами старшего – и тут же увидел его: здоровенный красавец в кожаной куртке и кожаной фуражке с красной звездой, немного, даже как-то аристократически небрит, красивое, слегка слащавое лицо, мощные плечи, широкие ладони, высокие, зеркальным светом сверкающие сапоги. Выражение лица одновременно и надменное, и обиженное. А ещё с виду добрые-предобрые глаза, но где-то там, в глубине плещется ненависть, нетерпимость, граничащие с отвращением. Северианов незаметно, без видимого внешне проявления сжался, словно пружина.

– Эх, Антон Савельевич! – попенял он усатому хозяину квартиры, улыбаясь укоризненно-осуждающе. – Ну как же вы так осрамитесь-то?

Северианов мог бы поклясться, что обладатель эксцентричных усов сгорает от стыда и готов провалиться сквозь землю, но красавец в кожаной куртке не дал разгореться диалогу.

– Молчать! – заорал он и с какой-то садистской жестокостью, свирепым варварством, ударил Северианова снизу кулаком в живот. Апперкот – так в английском боксе называется...

«Чайник! – сгибаясь, громко и неуклюже валясь на пол, словно сброшенный с плеч грузчиком мешок муки, определил Северианов. Сие формулирование означало вовсе не металлический сосуд для кипячения воды, но неумелого, неопытного бойца. – Ротозей! Если б вам вместе с кожанками ещё и ума немного выдавали...»

Мешок муки может ведь по-разному упасть. Может свалиться бесформенной пыльной массой, куском бессильной рохли, а может и, продолжая движение, перекатиться, подпрыгнуть, оттолкнуться от земли...

Чтобы врезать наглому гостю, чекист шагнул вперёд, а Северианов после удара завалился вбок – и теперь «кожаный» перекрывал собой сектор стрельбы и матросу, и его напарнику.

– Контра! – главный чекист с размаху пнул носком сапога Северианова в живот.

– Э! – вдруг совершенно неожиданно подал голос матрос. – Слышь, товарищ Дубас! Полегче! Отстань от него!

Северианов вдруг по-новому, с какой-то внутренней теплотой посмотрел на матроса. Нет, никто не отменял принципа доброго-злого следователя, но вот только морячок, похоже, об этом приёме не знал ничего и говорил совершенно от души, искренне.

– Не тронь! – повторил он снова.

Северианов застонал очень натурально, одновременно, как ножницами, подсёк ногами под колени «товарища Дубаса» – и тот рухнул действительно как пыльный мешок с мукой, ударился затылком – и потерял сознание – Северианов легко перекатился через плечи, выпрыгнул вверх, в стойку. Продолжая движение, долбанул сверху вниз локтем в переносицу ушлому мужичку – тот сразу залился кровью, и наган выронил – и, оказавшись у матроса за спиной,

рубанул носком правой ноги сзади под колено, локтевым сгибом перехватил «доброму» матросику шею – удушающий захват называется. Ситуация изменилась в корне – а не прошло и нескольких секунд. Матрос хрипел, пытаясь двумя руками освободиться от захвата, «товарищ Дубас» и ушлый напарник морячка лежали, не подавая признаков жизни.

«Захватили рукой за шею – и додавливайте корпусом, – учил подполковник Вешнивецкий. – Именно корпусом! Противник должен свою голову у вас на руке оставить!»

– Оружие на пол! – скомандовал Северианов – команда, прежде всего, была предназначена оставшемуся не у дел пареньку, как соляной столб застывшему у двери в комнату и олицетворяющего своим видом памятник всем растяпам и ротозеям. Выдернув из кармана наган, Северианов приставил ствол к виску матроса – это выглядело в высшей степени устрашающе, хотя и не имело большого смысла – удавить морячка было и быстрее и проще.

– Бросай оружие! – повторил Северианов. – Ну!

Парень даже не колебался, его состояние оценивалось однозначно: ступор – он совершенно не понимал, что делать, и тут очнулся морячок.

– Стреляй, Зудов! – прохрипел матрос, вцепившись Северианову двумя руками в сгиб локтя. – Вали его!!! – это был крик отчаяния, печаль уныния, возглас безысходности. Просто так матрос сдаваться не хотел – и жизнь свою в этой схватке не ценил ни в малейшей степени! Биться – так до конца, до Победы, или до смерти, если задумался о полумерах – так сразу и проиграл! Как говорил подполковник Вешнивецкий: «Иди впереди всех, под огнём! Уничтожь противника, водрузи знамя на его поверженном бастионе – и будешь героем! На миг задумался – и ты проиграл! А проигравших никто не любит. Даже если останешься в живых – так разве ж это жизнь?» Северианов мог резким нажатием сломать противнику шею, но лишь чуть-чуть усилил захват – матрос захрипел и затих.

– Сколько вас? – спросил Северианов. – Быстро, ну! Застрелю!!!

– Восемь, – сказал паренёк по фамилии Зудов. – Здесь четверо, один на этаж выше, трое на улице.

– Давно?

– Третьи сутки.

Северианов толкнул ему в руки матроса, прыгнул к окну и в окно. В прыжке каблуками сапог ударил в раму – створки мгновенно распахнулись – только стёкла брызнули, сверкнув осколками. Северианов слетел вниз, на улицу, ну подумаешь, третий этаж, он ведь тоже не из Смольного института, не белоручка, кисейная барышня... В падении сгруппировался, коснувшись носками сапог мостовой, кувыркнулся через правое плечо, вскочив, на ходу трижды выстрелил по бегущим навстречу солдатам с красными повязками на руках. Те быстро и дисциплинированно попадали на землю, защёлкали затворами винтовок. Кто-то появился в оконном проёме наверху, ага, матрос, вот неймётся же ему, казалось бы – придушили – так лежи и отдыхай – нет, в герои рвётся – Северианов навскидку выстрелил – только продырявленная бескозырка подпрыгнула – матрос инстинктивно присел – Северианов бросился бежать. Сзади запоздало и отчаянно-обессиленно прогремело: «Стой! Стрелять буду!»

«Ну-ну, – подумал на бегу Северианов. – Давай, стреляй!». Гулко шарахнул винтовочный выстрел – Северианов даже не оглянулся. Он бежал ровно, спокойно, два шага – вдох, два шага – выдох, – путь отхода был заранее намечен – тридцать шагов по улице, потом – влево, в арку, бросок через стену: подпрыгнуть, захват руками, упор правой ногой, рывок, перебросить тело на ту сторону...

– Стой! – шарахнул выстрел. Противный звук рикошета. – Ага, стою уже! Давай, лови меня!

Выстрелы зачастили. Били с той стороны стены, непонятно только куда, в кого, да и, вообще, зачем – Северианов пересёк улицу – нырнул через проходной двор, и сейчас от преследователей его отделяло метров четыреста. Чтобы догнать – нужно время, пусть небольшое,

секунд десять – пятнадцать, только этих секунд у преследователей уже не было. Фатум, судьба, колесо Фортуны... Хотя, какое, к чертям, колесо – обычный расчёт! Он же, прежде чем на явку идти, несколько раз путь отхода прошёл, ножками расстояние проверил. Планида, рок, линия будущего... Подполковник Вешнивецкий вдальблывал как «Отче наш»: «Если ты до полусекунды время выверил, если до последнего вершка ножками маршрут исходил – вероятность случайности, этого самого „русского авось“ стремительно к нулю падает! Как Суворов говорил, помните? Тяжело в учении – легко в бою... Он же ведь не просто так говорил – потому он и Суворов – Великий русский полководец! А поэтому учитесь, юноши, не жалейте пота, чтобы потом кровью этот самый пот не компенсировать. Пот – не кровь, он смывается легко, и следов ранений не оставляет!». Северианов перешел с бега на шаг: незачем привлекать излишнее внимание!

В ветхом, покосившемся дровянике было весьма неудобно, тесно и холодно, а запах прелого сена, смешанный с ароматом свежего навоза, настраивал отнюдь не на романтическое настроение. С фиолетово-тёмного неба накрапывал небольшой, но скучный и монотонный дождик, из тех, что не сильно и заметны, но промочат насквозь, до нитки, отбирая тепло и медленно выматывая душу. Хотя, некоторым шум дождя за окном нравится, это если сидеть в тепле у окна, да еще пить ароматный чай из самовара, да с вареньем вишневым или малиновым. Мечта, иллюзия, грёза. Крыша дровяника протекала немилосердно, еще полчаса – и он станет мокрым, как жертва кораблекрушения, а что делать так и не решил. Вторая, запасная, резервная явка была надёжна до чрезвычайности. Если верить тому же самому Кунцендорфу Василию Яковлевичу. Но! На основной, тоже надёжной, явке Северианова ждала засада чекистов, что же на резервной? На той, что на самый крайний случай, если деваться совсем некуда будет? Если и там товарищи в «кожанках», то теперь они будут во сто крат осторожней! И, скорее всего, сразу откроют огонь, учёные уже сегодняшним задержанием. А ещё они теперь злые и злые именно на него, Северианова. Но и уходить тоже некуда, в городе он никого не знает, а люди Кунцендорфа его ждут... Ну, или должны ждать, по крайней мере...

Прошло три часа, как он лежит в дровянике напротив небольшого деревянного дома на окраине города, а окончательного решения до сих пор не принял. На первый взгляд, всё спокойно, количество красногвардейских патрулей не увеличено, нет облавы, и подозрительных людей вокруг Северианов также не заметил. Что, опять же, ничего не значит: если чекисты явку раскрыли, то теперь, после неудачи, будут предельно осторожны, побоятся спугнуть. Он сам, на их месте, прекратил бы всяческое наблюдение за домом, переместил все патрули в центр, показательно ловил бы диверсанта на месте первой засады. Всё правильно, всё логично, нахрапом, с налёту взять не получилось, нужно начинать действовать тихо, по уму. Усыпить бдительность, заставить раскрыться. Должен же быть у них кто-то умный, опытный, не одни же товарищи Дубасы да мальчишки Зудовы... Но! Опять сомнения – первую засаду организовывал явный дилетант, любитель, профан... Северианов закрыл глаза, чувствуя, как холодная дождевая влага беспощадно забирает тепло, поёжился, пытаясь хоть чуть-чуть согреться. Надо идти. Северианов ещё раз осмотрел улицу. Все спокойно, размеренно, буднично. Пробежал мальчишка-уличный торговец, возле дома не задержался, прокричал своё: «подходите, покупайте папиросы – идеал джентльмена, лучший друг спортсмена!» – и, не мешкая, исчез. Проехала пролётка: возница, седок – тоже мимо. Проходили люди – никого он не увидел повторно. Слишком все чисто, словно неведомый противник просто-таки приглашает в гости. Ладно, решил Северианов, выбрался из дровяника, вышел на улицу и медленно двинулся вдоль редкого дощатого забора. Еще одна проверка, крайняя. Если что-то не понравится... Северианов понимал, что специально оттягивает момент принятия решения. Если в доме все чисто – он напрасно тратит время, да ещё рискует натолкнуться на патруль, если же в доме засада – его будут ждать, не пытаясь задержать на улице. Или всё-таки попытаются? Ну, тут уж у кого нервы крепче, выдержка железнее... Он завернул за угол и увидел мальчишку, продавца папирос.

– Идеал джентльмена, лучший друг спортсмена! – надрывался паренёк. – Папиросы «Осман», давай налетай!

По-видимому, окружающие джентльмены и спортсмены не торопились приобрести изделия «величайшей и первой по качеству своих изделий» табачной фабрики, но юный коммерсант не отчаивался, продолжая выкрикивать:

– Богат, как сам Пьермон Морган, курю я «Пери» и «Осман»! Табак «Албанский» – идеал, любимцем сразу всюду стал!

– Иди сюда! – позвал Северианов. Мальчишка подбежал, не переставая декламировать.

– Курите «Еву» – наслаждение, гласит общественное мнение!

– Знаешь, кто живёт в этом доме? – спросил Северианов. Взял коробку папирос, покрутил, равнодушно разглядывая.

– А то! – радостно подпрыгнул малолетний торговец. – Иван Саввич, доктор, только они сейчас в отъезде, в деревню к сестре отлучились. А комнату сдают.

– Кому?

– Не знаю.

Северианов протянул мальчишке деньги.

– Отнеси папиросы жильцу, скажи, презент от Фёдора Каллистратовича Любецкого. Запомнишь?

Паренек кивнул.

– Когда вернёшься – получишь еще столько же. Годится?

Паренек заулыбался, кинулся к дому, на ходу выкрикивая: – Наслаждение, папиросы! Восхищение, не табак! Убеждён, что это так!

Приём был простой, старый, как мироздание и не очень надёжный – много Северианов от него не ждал, быстро вернулся назад, укрываясь, стал наблюдать.

Ничего не произошло. Ни шума, ни криков, ни другого ажиотажа – паренёк примчался почти сразу, не задержался, прошло не более нескольких минут.

– Они сказали, что некурящие, – со старушечьей обидой изрёк торговец табаком. – Велели папиросы вам вернуть и передать, что собираются уходить, если Вы имеете желание зайти, то у вас есть полчаса, не более. Так и велели передать.

«Ого, – подумал Северианов, – Дерзко, однако! И любопытно! На засаду непохоже, либо „засадник“ поопытнее Дубаса с Зудовым. Надо идти». Он расплатился, забрал папиросы и, не таясь более, направился к дому. Рука сжала в кармане рукоятку офицерского нагана-самовзвода. Подойдя к крыльцу, Северианов достал револьвер, большим пальцем взвел курок. Постучал.

– Заходи, не заперто – раздалось из-за двери. Голос был удивительно знаком – Северианов, не веря ещё, распахнул дверь.

Человек, стоявший в прихожей, улыбался. Был он высок, строен, в меру седоват и обращаться к нему следовало не «товарищ», и даже не «ваше благородие», а, как минимум, «ваше высокоблагородие», а то, возможно, и «ваше превосходительство». И, что самое главное, Северианов его знал!

Глава 1

День давно перевалил свою середину и медленно начал движение к завершению, было жарко, лениво и праздно, плющ свисал с переплетённых прутьев ограды зелёным желе, и даже солнце светило как-то неохотно, по обязанности. Дорожку устилал толстый слой сосновых шишек, а орехи висели прямо над головой, при желании можно было просто поднять руку и сорвать трёх – или четырёх -, а то и пятиплодовые грозди, но никому подобная странная мысль не приходила в голову, и орехи, похоже, так и провисят до поздней осени, а некоторые, возможно, и до самой зимы. Ограда в косую сажень высотой, из переплетённых стволов молодых берёзок давала ощущение необыденности и некоторой диковинной экзотики. Кресло тоже плетёное, потому почти невесомое, и даже удобное.

– Позвольте поухаживать за Вами, Настюша, – Мария Кирилловна взяла Настину чашку, долила кипятка из самовара, из заварного чайника плеснула янтарного цвета заварки. – Угощайтесь, пожалуйста. Как говорится, выпей чайку – забудешь тоску.

Известный новозеландский поэт и прозаик Юрий Антонович Перевезенцев поддержал Марию Кирилловну торжественно-выразительной декламацией стихов столичного поэта Александра Блока:

Глухая тоска без причины
И дум неотвязный угар.
Давай-ка, наколем лучины,
Раздуюм себе самовар!

Словно оценив стихи, польщенный самовар свистнул соловьем-разбойником, и гости заулыбались, а Юрий Антонович продолжил:

– Лев Николаевич Толстой так говорил: «я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души».

– Мария Кирилловна чаёвница знатная, – расплылся в улыбке Порфирий Алексеевич Нелюдов. – Да-с, коль чаем угощают, значит, уважают.

– А как же-с, – подхватила Мария Кирилловна. – Чай не пьёшь – откуда силу берёшь? Чай, чаёк, чаишко, травка, хоть и китайская, а напиток-то наш, расейский. Истинно, так сказать, русский, без всяческих экивоков. Вареньице берите, накладывайте, не стесняйтесь! Вишневое, из собственного сада! – сухонькая морщинистая рука подвинула розетку с крупными ягодами в тягучем сиропе. – Кушайте, дорогая. Медку, опять же, да блинков...

Была Мария Кирилловна маленькой, подвижной, седые волосы стянуты на затылке в пучок. И вся круглая. Нет, на пивной бочонок не похожа и на огромный надутый шар тоже. И не толстая совсем. Просто круглая, словно, в Марии Кирилловне не было острых углов. Да и вообще ничего острого. Круглое обличие, круглый нос, круглые глаза, рот – словно маленький кружок. Лицо бесцветное, лишённое ярких красок, словно набросок, замалёвок, на который неведомый художник двумя узкими росчерками угля нанёс брови – свинцово-чёрные, смоляные. Как дёготь. Как антрацит. Как пролитая на бумагу тушь. Она сидела в торце стола, возле большого пузатого самовара, кажущегося крупнее своей хозяйки. Самовар сверкал медными боками, мягко и приятно отражая солнечные лучи и наполнял стол вокруг себя сиянием и умиротворением. Связка солёных баранок с ярко-жёлтыми боками и румяным оранжево-коричневым верхом пулемётной лентой опоясывала самовар. Перламутровый заварочный чайник, укрытый барышней-грелкой, гордо восседал на конфорке и расписными цветочками, словно розовыми глазами свысока оглядывал собравшихся за столом. В маленькой плетёной плоской корзине лежали бублики, а в хохломской деревянной посуде – пряники. Горка мелко наколотого сахара кому-то могла показаться драгоценными камнями, а кому-то, в зависимости от настроения, кучкой битого стекла. Свежесобранная малина алела и благоухала особой

сладостью, а «северный виноград» – крыжовник собрал в одной плошке все цвета радуги – от янтарно-жёлтого, зелёного и розового до фиолетового, почти чёрного. Отдельным Эльбрусом, да нет, Эверестом высились блины, пышные, румяные, маслянистые. Белоснежная кружевная скатерть на столе и Мария Кирилловна в цветастом платке, вольготно раскинувшись на плечах, держа тремя пальчиками ручку широкой круглой чашки, словно дополняли картину неспешного русского чаепития.

– Из блюда чай только купцы пьют! – голос Марии Кирилловны выражал чрезмерное презрение, пренебрежение и даже некий ужас, словно говорила она о вещах крамольных, постыдных и унижительных. – А до краёв стакан простолоудинам в трактирах наливают – чтобы на каждую свою копейку пролетарий доволен был. По-настоящему чай только жители Москвы заваривать умеют. Вы, Настя, из Москвы?

– Из Петрограда, Мария Кирилловна.

– Ну а в наши Палестины Вас каким ветром занесло?

Настя опустила глаза.

– Жених у меня здесь.

– Да? – Мария Кирилловна с интересом посмотрела на Настю. – Кто ж таков, может я его знаю? Я со многими знакома, во многих домах бывала. Он местный? Как вы познакомились, расскажите, ужасно интересно!

Настя зачерпнула ложечкой тягуче-красное варенье, отхлебнула ароматного чая.

– Мы знакомы давно, даже были помолвлены. Он окончил военное училище, решил защищать Отечество от большевиков, уехал воевать. Последняя весточка от моего Виктора, – она сказала с ударением на втором слоге, – пришла отсюда, из Новоелизовинска... Его товарищ, Антоша Кириллов, нашёл меня в Петрограде, рассказал. До фронта Виктор не доехал, его схватили чекисты. Узнав, что город, наконец-то, освобожден, я решила найти его... – Слеза предательски поползла по щеке, упала на стол. Настя прикрыла глаза ладонью. – Я, не смотря ни на что, уверена, что он жив! – она замолчала. Отставила в сторону чашку, промокнула глаза платком. – Я бы почувствовала, если б с ним случилось непоправимое! Честное слово, почувствовала бы!

– Успокойтесь, Настенька! – Мария Кирилловна ласково погладила её по руке. – Выпейте ещё чаю, вот увидите, все будет хорошо, все устроится, женское чутьё – дорогого стоит. Раз Вы уверены – значит, он жив! Жив – и вы обязательно встретитесь! Мы же, в свою очередь, безусловно, поможем Вам! Поможем ведь, Пётр Петрович? – повернулась она к Никольскому.

Пётр Петрович Никольский, подполковник, начальник контрразведки, красавец мужчина, высокий, неотразимый, как иллюстрация к романам Мопассана, внимательно, оценивающе, как придирчивый покупатель племенной лошади для собственной конюшни, облизал взглядом Настю. Словно новомодным аппаратом Вильгельма Конрада Рентгена насквозь просветил. Отметил всё: девочка молоденькая, свеженькая, неопытная; личико прелестное; грудь взгляд радуёт, притягивает, словно магнит, круглая, аппетитная; ножки точёные, длинные; бедра неширокие, в самый раз, ему именно такие по вкусу. Можно и попробовать. Вернее нужно. Жениха-то, скорее всего, чекисты шлёпнули, девчонка расклеится, разрыдается – тут и утешение понадобится. Свежачок-с!

– Конечно, поможем, Мария Кирилловна, о чем речь! Найдем мы вашего Виктора, Настенька, даже не беспокойтесь! Завтра же с утра и займемся, загляните ко мне на Губернаторскую, 8, часиков в... – он элегантно шёлкнул крышкой золотых часов-репетира с изображением Государственного герба из Кабинета Его Императорского Величества – заиграла мелодия гимна «Боже, царя храни!» Насладившись произведенным эффектом (особый статус гимна Российской империи делал такие часы исключительными), Пётр Петрович продолжил: – Пожалуй, в девять, знаете, где это?

Настя кивнула:

– Да.

– Ну и замечательно, дорогая Настя, Вы позволите Вас так называть? Прямо ко мне приходите, я предупрежу, а уж я Вам со всем моим превеликим удовольствием помогу.

– Спасибо! – Настя растроганно улыбнулась сначала Никольскому, затем Марии Кирилловне. – Я Вам очень признательна! – Она глубоко вздохнула, но тут опять предательские слёзы навернулись на глаза, потом, словно из прохуdivшейся посуды, хлынули неудержимым водопадом.

– Простите меня, – она вскочила, выбежала из-за стола.

– Пантелеймон! – громко позвала Марья Кирилловна. – Проводи барышню умыться!

Пантелеймон был одного с Марьей Кирилловной возраста, но выглядел старше. Может быть, годов прибавляла ему огромная, извилисто-овальная плешь в редком обрамлении тёмно-рыжих волос или шаркающая хромота, а может быть, кисло-недовольное выражение лица и невнятное ворчание, словно бегущей по трубам воды, по поводу и без оно, но Марья Кирилловна на его фоне выглядела шаловливой младшей сестрой при суровом великовозрастном брате. Пантелеймон прислуживал хозяйке всю жизнь и уже не представлял себе иного, отличного от сегодняшнего, состояния. Был он теперь и за дворецкого, и за камердинера, и за повара, и за столового лакея, а также за ключницу, кучера и прочих дворовых людей. Он один остался при барыне после революции, и даже, поговаривали, именно ему обязана Мария Кирилловна жизнью. Слухи ходили, дескать, кто-то из пантелеймоновских родственников, сват, брат или кум, при большевиках вышел в большое начальство, то ли в ЧК служить пошел, то ли в Губком РКП (б), то ли в военно-революционный комитет, а может, в другой какой-либо Комиссариат, неизвестно, но Марию Кирилловну не тронули. Усадьбу, конечно, реквизировали. Или национализировали. Или экспроприировали, пойдя, разберись в этих незнакомых и непонятных словах. Отобрали, проще говоря. Разместили в бывшей усадьбе какое-то Советское учреждение, исполком, кажется, а Марья Кирилловна перебралась жить из апартаментов в клетушку Пантелеймона. А когда в город вошли белые – торжественно вернулась обратно. Услуги не забыла, предлагала Пантелеймону разные блага, но тот отказался, ему, мол, ничего не надо, лишь бы барыне привольно жилось!

Барыне жилось привольно. Её усадьба превратилась в своеобразный великосветский салон, где собиралось за чаем приятное общество и за неспешной беседой с удовольствием проводило время. Попасть к Марии Кирилловне считалось особой честью, которую ещё заслужить надо. То есть, понравиться хозяйке. Капитан Парамонов, лихой рубака, гроза комиссаров и прочей голоштанной сволочи, герой весенней кампании, сказал при знакомстве какую-то, казавшуюся ему неимоверно смешной, пошлость – и получил от ворот поворот. Надворный советник Чичигин, дворянин и представитель Статистического Комитета позволил себе вольность: прикрикнул на Пантелеймона, дескать, знай, холоп, своё место – и теперь локти кусает от досады, но к столу Марии Кирилловны более не допущен! Мария Кирилловна многое может, ее в городе знают и всячески стараются ублажать и умамливать. Посетить ее посиделки – это быть принятым в высшее общество. Это как признак благонадёжности и верноподданчества. Как признак веры Царю и Отечеству! Ну и просто приятно! Мария Кирилловна тоже, в свою очередь, новых людей привечает, понравившимся ей может много полезных услуг оказать.

Настя наскоро умылась, придирчиво осмотрела себя в небольшое, висевшее над рукомыльником, зеркало: лицо опухло, глаза красные, как транспарант с надписью «Вся власть Советам!», в общем, не понравилась Настя самой себе.

А за столом продолжалась неспешная беседа, Мария Кирилловна заботливо разливала чай, угощала блинами и медом, время словно сместилось назад, туда, где нет еще войн и революций, нет деления на красных и белых, и ленивые посиделки вокруг самовара привычны и приятны.

Глава 2

Ступени скрипели под ногами расстроенным роялем, обращающим полонезы, прелюдии и фуги в кошачий концерт, в диссонанс. Лишь при большом желании и воображении в этой какофонии можно было различить некую мелодию, ступени выводили рулады, ныли и стонали взбесившейся скрипкой в руках виртуоза – пропойцы. Северианов медленно спустился вниз, присел за крайний у стены столик, прикрыл глаза. Неожиданный запах свежих берёзовых листьев, хмельного хлебного кваса и вынутого из печи румяного каравая навевал дрему и негу. Граммофон разливался королевой русского романса, певицей радостей жизни Анастасией Вяльцевой:

Ты не спрашивай, не выпытывай,
От меня не узнаешь ни слова.
Не прочесть тебе, что в душе моей, —
Ты ли мне иль другой милей...

Словно сошедший с картины Кустодиева юркий половой с лакейским подобострастием, должным изображать уважительный интерес, тряхнув смоляным чубом, склонился перед Севериановым почтительным вопросительным знаком.

– Чего изволите-с? —

– Скажи, любезный, – Северианов открыл глаза и внимательно посмотрел на полового. На него и, одновременно, сквозь него. – Как мне увидеть хозяина этого заведения, господина Лазарева.

– Сию минуточку-с, я узнаю у Прокофия Ивановича... Как о Вас доложить?

– Штабс-капитан Северианов, по делу. И поживей, любезнейший!

Хозяин трактира вовсе не был растерян или напуган, смотрел на Северианова даже с некоторым диковинным любопытством. Держался хоть и скромно, но с достоинством, одет был безукоризненно и со вкусом: Северианов отметил и булавку с головкой из круглой жемчужинки, и золотые часы Павел Буре.

– Может быть, чайку-с, или покрепче чего? Из-за временных трудностей выбор не сильно богат, но достоин, есть, например, бесподобная водочка, не самогонка какая, а уж наливка... – Прокофий Иванович улыбнулся мечтательно, даже глаза затуманились, и непроизвольно слотнул.

Когда-то, во времена достопамятные, трактир «Тобольск» был наилучшим в городе, сюда наезжали не только Новоелизаветинские гурманы, но и эпикурейцы, сибариты и чревоугодники из других городов и весей, прослышавшие про знаменитые лазаревские блинные пироги с парной говядиной, белыми грибами, стерлядью, которую, в свою очередь, не варили, а лишь обдавали крутым кипятком. Пироги подавались на золотой тарелке, а к ней бесплатно соусник горячей ухи и рюмку ледяной «смирновки». Также знаменит был трактир диковинными наливками из самых разных плодов и ягод, приготовленными по секретным, только Порфирию Ивановичу Лазареву известным рецептам, где градус всего лишь средство для выявления вкуса, смачности. А уж не попробовать здесь знаменитой жареной в коньяке индейки с брусникой, клюквой, морошкой, сливой, мочёными яблоками и нежинскими огурчиками расценивалось как моветон и дикарство. Трактир «Тобольск» был излюбленным местом встречи писателей, поэтов и сотрудников «Новоелизаветинских ведомостей», здесь выступали лучшие цыганские ансамбли, а в 1912 году, в честь столетия победы над Наполеоном, своим визитом даже удостоила сама Вера Зуйкевич, королева русского романса, волшебное меццо-сопрано, доводившее до слёз особ императорского Двора, исполнившая для избранных посетителей трактира своим волшебным голосом песню про Стеньку Разина и персидскую княжну: «Из-за острова на стрежень...»

Все изменилось с приходом Советской власти. Прокофий Иванович Лазарев слыл монархистом ярым и люто ненавидящим диктатуру пролетариата. Однако, в отличие от своих собратьев, также люто ненавидящих, но делавших это втихомолку, безгласно, тайно, смиренно и без единого недовольного звука, Прокофий Иванович вступил с большевиками в беспощадную конфронтацию, устроил в «Тобольске» конспиративную квартиру для тайных встреч господ офицеров-заговорщиков, активно участвовал в подготовке к свержению Советской власти, в общем, геройствовал. К сожалению, когда, пироги начинает печь сапожник, сапоги тачать пирожник, щука ловить мышей, чернорабочие и кухарки управлять государством, а трактирщики вести подпольно-диверсионную работу – получается то, что и должно получиться в полном соответствии с сочинением Ивана Андреевича Крылова:

Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

Как и предсказывал великий баснописец, очень скоро Прокофий Иванович Лазарев, взявшийся не за своё дело, попал в поле зрения ЧК: в «Организацию борьбы с большевиками», действовавшей под прикрытием «благотворительной организации» для оказания помощи раненым на войне офицерам и их семьям внедрились чекисты. 23 марта офицеры организации, пришедшие на инструктивное собрание в трактир Лазарева вместе с самим Прокофием Ивановичем должны были быть арестованы. Этого ужасного события Лазарев избежал чудом, коему сам немало удивлялся впоследствии: непосредственно перед операцией погибли председатель Новоелизаветинской ЧК Яков Ионович Ордынский и его заместитель Григорий Фридрихович Оленецкий, и операция оказалась под угрозой срыва. Заместитель Ордынского Житин к контрразведывательной работе особых способностей не проявлял, задержание провёл ни шатко, ни валко, совсем не так, как планировалось. Говоря по совести, если бы не решительные действия командира боевой группы Новоелизаветинской ЧК Троянова, операция вообще была бы безнадежно загублена. В завязавшейся перестрелке, большинству заговорщиков удалось скрыться, после чего Прокофий Иванович состоял на нелегальном положении до самого освобождения города частями генерала Васильева. В трактире ушлые и сноровистые чекисты оставили засаду, в которую угодили многие члены подпольного комитета.

К великому сожалению Прокофия Ивановича, с концом Советской власти в Новоелизаветинске и воцарением прежнего режима, никто не собирался оказывать ему какое-либо вспомоществование в восстановлении утраченного в боях с большевиками имущества. Вопреки ожиданиям, богатство и достаток не хлынули на Прокофия Ивановича щедрым проливным дождём, прежние товарищи на словах выражая свое восхищение его доблестью и отвагой, тихо злорадствовали за спиной. Контрреволюционный герой Прокофий Иванович оказался гол, как сокол, в долгах, как в шелках и беден как церковная мышь, в отличие от злейшего врага и конкурента Петра Сидоровича Чеводаева, с большевиками не конфликтовавшего, напротив, всячески им угождавшего, прислуживавшего и даже лакействовавшего. В результате Пётр Сидорович не только не потерял свое дело и капитал, но и во многом преумножил и то и другое. А герою подпольного антибольшевистского монархического комитета пришлось начинать все наново, вдругорядь.

– Может, отобедаете у нас? Я сейчас распоряжусь!

– Не стоит, право. Благодарю, конечно, покорно, но время...

– Э-э-э, молодой человек, что такое время? Торопись медленно, гласит поговорка. Десять минуток сэкономите, а желудок испортите-с! – Лазарев назидательно поднял вверх указательный палец. – Всё успевает тот, кто никуда не торопится, а тщательно рассчитывает продолжительность момента. Делу – время, а приёму пищи – час, уж будьте любезны!

Северианов вздохнул.

– Спасибо за предложение, но не стоит, право.

– Слышать ничего не желаю! Кровно обидите! За трапезой и побеседуем.

В кабинете бесшумно появился человек с огромной козлиной бородой, с подстриженными усами, в белых штанах и белоснежной рубахе навыпуск, перепоюсанной шнуром с кистями. На столе возникли, словно скатерть-самобранка расстелилась, ароматно дымящиеся тарелки с ухой из белорыбицы, жареный поросёнок со смоченной водкой хрустящей корочкой и нашпигованный чесноком копчёный окорок с хреном. Отдельным Эльбрусом в центре этого великолепия потел крупными каплями замороженный литровый графинчик.

– Покорно благодарю, Прокофий Иванович, не сочтите за оскорбление, или, того хуже, платы за обед, просто не желаю прослыть любителем дармовщинки. – Северианов положил на стол банкноту. – Не надо спорить, у меня тоже свои принципы имеются. Считайте это благодарностью от контрразведки за согласие сотрудничать.

– Что за чушь, господин штабс-капитан, какая может быть благодарность за сотрудничество с контрразведкой?

– Пустое, – оборвал Северианов. – Не желаете – отдайте купюру вашему человеку. На чай. Или выбросьте. Итак, что можете сказать?

Лазарев задумался.

– Председатель ЧК Житин исчез за несколько дней до того, как наша победоносная армия освободила город. То ли за два дня, то ли за четыре, точно не скажу-с. Просто не знаю.

– Совсем исчез?

– Как сквозь землю-с. Прихватил реквизированное золотишко – и поминай, как звали-с.

– А что за золотишко?

– Ценности, что большевички за время своего нахождения у власти изволили-с награть, реквизировать, в смысле. На нужды голодающих, якобы! – господин Лазарев ухмыльнулся премемерно, даже подмигнул, словно призывая Северианова в свидетели.

– Много было золота? – поинтересовался Северианов с вялым любопытством.

– Вот этого не скажу, не ведаю, слухи ходят, что много. Украшения всяческие, камни и прочее, большевички любили состоятельных людей пощипать, ободрать до нитки.

– Даже примерную сумму назвать не сможете?

– Увы! Краем уха слышал: около трехсот тысяч рубликов золотом, а там кто ж знает...

– А кто может иметь представление?

– Я думаю, кто-то из товарищей чекистов.

– И где теперь эти товарищи?

Лазарев пожал плечами:

– Даже не знаю, чем помочь Вам, господин штабс-капитан. Они тогда разбежались все, как тараканы. Как крысы-с. Так сказать, с тонущего корабля. Кому-то удалось уйти к своим, кто-то в уличных боях сгинул, а кого и схватили наши доблестные солдатики.

– И?

– Постреляли, конечно, их. Сразу и постреляли. Нет, сначала-то, конечно, допросили, а потом – в расход, не церемониться ж с ними.

– От них и узнали про председателя ЧК и золото?

– Ну да, скорее всего.

– То есть, точно не знаете?

– Увы-с. При всём моем глубоком почтении... Вам бы поговорить с господами из контрразведки, с теми, что допрос с товарищей чекистов снимали-с.

– Уже поговорил! – Северианов вздохнул. – Они мало чем смогли помочь мне. Направили к Вам.

– Однако! – Лазарев удивленно поднял брови. Его кубанский говор был плавлен и тягуч, как вязкая смола, живица, деготь. Лазарев не говорил, он пел. Его голос обволакивал, завораживал.

– Довольно странно-с.

– Ничего странного! Вы – борец за идею, бывший активный участник сопротивления, за Вами при красных чекисты охотились, Вы, так сказать, кровно заинтересованы... А господа контрразведчики как-то очень формально допросили пленных и поскорей поспешили привести приговор в исполнение. Вот и всё!

– Хм! Однако, довольно странно, – повторил Прокофий Иванович. – Если можно так выразиться, достойно удивления, по меньшей мере.

– Нет, к сожалению, вполне естественно. Вы, так сказать, по убеждению, а они по обязанности.

– Так вас интересует золото?

– Золото меня, конечно, интересует, но в меньшей степени. Больше интересует, кто из господ, пардон, товарищей чекистов мог остаться в нашем тылу для подрывной и диверсионной деятельности. Как, например, Вы охарактеризуете фигуру главного чекиста, председателя ЧК?

– Но он ведь сбежал. С золотом.

– Как я понял из Вашего рассказа, это только слухи. И вполне возможно, специально распространенные той же ЧК.

– Зачем?

Северианов улыбнулся.

– Хотя бы для того, чтобы мы с Вами так думали и не пытались его искать. А он живёт себе спокойно в городе под чужой фамилией и готовится, скажем, убить господина градоначальника. Или взорвать здание контрразведки. Ну, или, как минимум, собирает сведения о дислокации и перемещении наших войск. Да мало ли чего можно ожидать...

– Вы думаете, такое может быть?

– К сожалению. Никто ведь его не будет искать здесь, если все считают пропавшим. Беглым. Как Вам кажется?

Лазарев задумался.

– Да, пожалуй, Вы правы. Я как-то...

– Не подумали об этом? – улыбнулся Северианов. – И так?

– Житин Антон Семёнович, из крестьян. В городе появился перед самой войной. После большевистского переворота пошёл в гору, после гибели предыдущего начальника ЧК Якова Ионовича Ордынского, тот из идейных был, революционер со стажем, Житин занял освободившуюся должность. Когда почуял, что дело керосином пахнет, прихватил реквизированное золотишко – и только его и видели. Поминай теперь, как звали. С таким уловом самое место – Париж, кафешантаны, шампанское рекой, куртизанки... – Лазарев мечтательно закатил глаза.

– Дальше, – попросил Северианов. – Всё это вы уже изволили говорить сегодня. Опишите мне его. Как жил, чем дышал и, самое главное, насколько может быть опасен, если, паче чаяния, он в городе?

Лазарев задумался.

– Звёзд с неба не хватал. И большим умом не блистал. Облаву организовать, расстрелять кого-либо, реквизировать ценности на нужды гольтыбы – это, пожалуй, да, но не более.

– То есть?

– Прежний начальник, Ордынский, хитрый был, изобретательный, закомуристый, неодлинейный. Агентуру свою имел. Точно знал, кого и где ждать надо. Шушеру, мелочь не хватал – всё крупных рыбин. В марте значительное наше выступление готовилось, кровушки

комиссарам изрядно пустили бы. Оружие имелось, люди. Так едва всех не забрали, чудо спасло...

– Про чудо, если можно, поподробнее.

Прокофий Иванович Лазарев откинулся на спинку стула, налил сразу покрывшуюся инеем высокую рюмочку, с чувством опрокинул, зажмурил от удовольствия глаза.

– Аз грешен, – сладострастно выдохнул Прокофий Иванович. – Пью квас – а увижу пиво, не пройду его мимо. – И с блаженным упоением принялся за поросенка, нежно хрустя поджаристой корочкой. Северианов налил в стакан ледяного клюквенного морса с мёдом.

– История эта сильно невероятна, даже напоминает некую сказку, вмешательство потусторонней силы, знака судьбы. Итак, представьте: 23 апреля утром ядро нашей «Организации борьбы с большевиками» собирается здесь на конспиративную встречу и окончательный инструктаж. Всё готово для выступления: оружие, люди, цели намечены, согласовываем время, сотрудничество, взаимодействие и прочие важные мелочи. Потом уже узнали: Ордынский внедрил к нам иуду, в ЧК про наше собрание хорошо известно и решено брать всех сразу, в одно время и по всему городу. Главных, ядро нашей организации, – в трактире, остальных – по одному, либо группами, как получится. Председатель ЧК Ордынский лично план разработал и руководил операцией. Если бы всё вышло так, как он задумал – не сживать бы нам с вами здесь сейчас и не беседовать. Но!.. – Прокофий Иванович выпил еще рюмку и с шумным наслаждением принялся за огнедышащую уху.

– Вы, Николай Васильевич, угощайтесь, будьте любезны, не отставайте. Ушица стынет, не дело!

Терпкий студёный морс был и кислым, и сладким одновременно, обжигаящая наваристая уха мечтательно аппетитна, угощение изрядно возбуждало аппетит, Северианов старался не спешить, есть медленно, не прекращая слушать Прокофия Ивановича, изредка задавая наводящие вопросы и вставляя пояснения.

– Посмотрите сюда! – позвал Прокофий Иванович, указывая на стену кабинета. – Видите этот уникальнейший документ, я сохранил один экземпляр, как свидетельство чуда, спасшего мою жизнь. Читайте.

Висевший на стене плакат именовался «Декрет Новоелизаветинского Губернского Совета Народных комиссаров» и по форме напоминал другие декреты Советской власти. Включал он в себя преамбулу и множество уникальных параграфов. Северианов прочел название: «Декрет о социализации женщин» – сначала не понял, но по мере чтения, лицо его камелело, и он не знал верить прочитанному, плакать, смеяться, возмущаться или восхищаться...

«Законный брак, имеющий место до последнего времени, несомненно являлся продуктом того социального неравенства, которое должно быть с корнем вырвано в Советской республике. До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках буржуазии в борьбе с пролетариатом, благодаря только им, все лучшие экземпляры прекрасного пола были собственностью буржуев, империалистов и такую собственностью не могло не быть нарушено правильное продолжение человеческого рода. Поэтому Новоелизаветинский Губернский Совет Народных комиссаров с одобрения Исполнительного комитета Губернского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановил:

– С 23 апреля 1918 года отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 30 лет. Примечание: возраст женщин определяется метрическими выписями, паспортом. А в случае отсутствия этих документов, квартальными Комитетами или старостами по наружному виду и свидетельским показаниям.

– Действие настоящего декрета не распространяется на замужних женщин, имеющих пятерых или более детей.

– За бывшими владельцами (мужьями) сохраняется право на внеочередное пользование своей женой. Примечание: в случае противодействия бывшего мужа в проведение сего декрета в жизнь он лишается права, предоставляемого ему настоящей статьёй.

– Все женщины, которые подходят под настоящий декрет, изымаются из частного владения и объявляются достоянием всего трудового народа.

– Распределение заведывания отчужденных женщин предоставляется Совету Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Губернскому, уездным и сельским по принадлежности...

– Граждане мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще четырех раз в неделю и не более трёх часов при соблюдении условий, указанных ниже.

– Каждый член трудового народа, обязан отчислять от своего заработка два процента в фонд народного образования.

– Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен предоставить от рабоче-заводского комитета или профессионального союза удостоверение о принадлежности своей к трудовому классу.

– Не принадлежащие к трудовому классу мужчины приобретают право воспользоваться отчуждёнными женщинами при условии ежемесячного взноса.

– Все женщины, объявленные настоящим декретом народным достоянием, получают из фонда народного поколения ежемесячное вспомоществование.

– Женщины, забеременевшие, освобождаются от своих обязанностей прямых и государственных в течение 4-х месяцев (3 месяца до и один после родов).

– Рождаемые младенцы по истечении месяца отдаются в приют «Народные ясли», где воспитываются и получают образование до 17-летнего возраста.

– При рождении двойни родительнице даётся награда.

– Виновные в распространении венерических болезней будут привлекаться к законной ответственности по суду революционного времени»...

– Каково-с? – улыбнулся Лазарев. – Оцените всю пикантность сего документа.

– Что это? – спросил Северианов.

– А никому не известно! Декрет этот был расклеен на домах и заборах в ночь с 22 на 23 апреля. Кем – неведомо, история, так сказать, умалчивает. И подлинность его сомнительна, во всяком случае, большевики отрицали свое авторство. Утром на Губернаторской улице, возле здания Совета Народных комиссаров собралась разъяренная толпа, в основном женщины. Требовали ответа. Негодовали: «Ироды!», «Хулиганы! Креста на них нет!», «Народное достояние! Ишь, что выдумали, бесстыжие!» Председатель Совнаркома не понял, что случилось, попытался успокоить собравшихся, кричал, что всё ложь и провокация, его не слушали. Представьте себе разгневанных женщин, тигриц, фурий и беспомощно оправдывающегося большевика. Вмешался Ордынский, пытался разрядить обстановку, утихомирить возбуждённую массу. Толпа негодовала, напирала, кто-то бросил булыжник, кто-то палку, неважно. Брань, давка, угрозы, полнейшая катавасия. В этой неразберихе и суматохе чей-то камень угодил Одынскому в висок – и председателя чрезвычайной комиссии не стало. Трагическая нелепица, прискорбная случайность, непредвиденный казус. Человек смертен. Если хотите рассмешить бога – расскажите ему о своих планах. Паника, переполох, смятение, испуг. Люди мечутся, большевики не знают, что предпринять. Как говорится, два извечных вопроса: кто виноват? и что делать? А операция пробуксовывает, чекисты ждут команду на захват. А тут – новый казус: два охламона, друга-приятеля, два товарища председателя чрезвычайной комиссии, Оленецкий и Башилин этой ночью решили культурно отдохнуть, стресс после тяжких трудов чекистских снять. Понятно, что не Бетховена или Чайковского они слушать собрались, и не Чехова Антона Павловича читать: взяли девок срамных, самогонки, гармошку – и в баньку. Ну а дальше – всё, как положено: раззудись плечо, да размахнись рука молодецкая.

Отдыхали с душой, надо полагать, с надрывом. Только перестарались: Оленецкий с морфием переусердствовал – и помер. Прямо там, в бане, в обществе дружка закадычного, да девок гулящих. Скандал, до трибунала рукой подать. Не в бою смертью храбрых заместитель председателя ЧК погиб, не во время операции и не от офицерской пули.

– И что?

– Ничего такого, обошлось. Объявили, что комиссар Оленецкий в борьбе за мировую революцию погиб, в момент операции.

– Неужели такое возможно? – изумился Северианов.

– Как видите.

– Выходит, Оленецкий был морфинистом?

– Выходит так.

– А его не могли убить?

– Зачем такой огород городить? Убить проще можно, Николай Васильевич. Пальнул в комиссара из-за угла – и всего делов!

– Как знать, Прокофий Иванович, может быть да, а возможно и нет. Продолжайте, прошу Вас.

– Все подробности операции только Ордынский знал, пока спохватились, пока помощник его Житин раздумывал проводить операцию всё-таки или отложить – время упущено, наши расхотеться начали. Не вышло у товарищей одним ударом организацию ликвидировать. Лютовали они потом, старались по одному переловить, только без Ордынского плохо это у них выходило.

Прокофий Иванович сильно разволновался и очередную рюмку хлопнул уже совсем без закуски.

– Так вот, после гибели Ордынского и Оленецкого, председателем ЧК стал Житин. Он действовал прямолинейно, как топор. У него даже кличка среди своих была – «Обморок». И Вы знаете, господин штабс-капитан, мне кажется, он в ЧК пришел служить не для того, чтобы с нами бороться, а для того, чтобы обогатиться, подзаработать. Очень уж реквизициями-с увлекался.

– Думаете, клал себе в карман конфискованные драгоценности?

– Не знаю. И, полагаю, мало, кто об этом может ведать доподлинно.

– Это верно. А как вы считаете, Прокофий Иванович, мог ли кто-нибудь, зная об этой, как Вы рассказываете, алчности, просто убить его, тело спрятать и пустить слух, мол, предчека сбежал с реквизированным золотом, а драгоценности эти самые присвоить. Например, спрятать до поры до времени. До лучших, так сказать, времён?

Прокофий Иванович внимательно посмотрел на Северианова. Безмерное удивление плескалось в его глазах. Выпил ещё рюмку, расстегнул верхнюю пуговицу, поддел вилок кусок сочащегося слезой розового мяса, задумчиво пожевал.

– Однако! А ведь верно, Николай Васильевич, подумать только. Хитро! Тогда это должен быть кто-либо из его подручных.

– Вы полагаете?

– Да-с. И вот почему. Человек, могущий совершить сию комбинацию, должен был хорошо знать Житина, иметь к нему подход, не вызывающий подозрений, и иметь доступ к драгоценностям. Оно же, золотишко, я думаю, не в чулане хранилось. И не на столе горкой лежало: подходи, кто хочешь и набирай сколь душа возжелает, а карманы выдержат. В сейфе оно, должно, хранилось, а к сейфу, как известно, ключик полагается. И не дюжина-другая, а один-два-три, и все-с. И ключики эти только у начальства есть, у того, так сказать, кому они по должности положены. Опять же, не каждый может просто так убить человека. Не в бою, а хладнокровно, с преступным умыслом. Да ещё тайно сотворить богомерзкое дело, чтобы никто не узнал... И ещё, он должен был иметь возможность распустить подобный слух и, что

главное, распустить его так, чтобы ему поверили. Чтобы ни у кого не возникло сомнений: Житин, действительно, сбежал с реквизированным золотишком. Я вот, с ходу, что называется, поверил в это...

– Но у меня ведь возникли подобные сомнения.

– О, это совсем другое дело!

– Почему же?

– Служба у вас такая, везде сомнения искать, всех подозревать.

– Ну что ж, Вы рассуждаете вполне логично, прямо как английский сыщик Шерлок Холмс, – Северианов улыбнулся. – Это комплимент, Прокофий Иванович! Честное слово, мне нравится ход Ваших рассуждений, пожалуй, я не зря обратился именно к Вам. А как Вы думаете, на подпольную работу товарищ Житин мог остаться? Если, как я уже говорил, его исчезновение инсценировали, ценности спрятали, а, может быть, тайно эвакуировали, а товарищ предчека теперь всеми уважаемый господин, какой-нибудь, Скворцов-Скуратов, дворянин, или поручик Викторов, заслуженный фронтовик, борец за белую идею. И насколько это может быть опасно для нас?

– Всё может быть, Николай Васильевич. Всё в руках Господних...

– А Ваше мнение?

Лазарев задумался.

– Слишком сложно для Житина. Он человек простой, от сохи, что называется. А тут выдумка нужна, особый склад ума, хитромудрость. Вы вот подумали о такой возможности, а я нет. Чтобы сию комбинацию спроворить надо... – он задумался, подыскивая нужную формулировку.

– Надо просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд и искать нестандартные решения, – подсказал Северианов.

– Примерно так. Значительно проще затеряться среди обывателей, не выдумывая всяческих историй с золотом, драгоценностями.

– Проще – не значит лучше, Прокофий Иванович. Так-то искать его не будут, согласны со мной?

– Да, наверное.

– Хорошо, тогда следующий вопрос. Относительно его подчиненных, подручных, как Вы изволили выразиться. Можете кого-нибудь назвать? Желательно из тех, кто живы.

– Знавал нескольких. Но где они: здесь, в подполье, у своих или мертвы, сказать не смогу.

– Хорошо, расскажите то, что знаете.

В кабинете вновь бесшумно появился человек с козлиной бородой. Казалось, он лишь мелькнул неясной белоснежно-молочной тенью и тут же исчез, вместе с грязной посудой, а стол дополнительно украсили два ароматно дымящихся стакана в массивных серебряных подставках. Северианов не удивился, если бы между Прокофием Ивановичем и козлобородым существовала невидимая телепатическая связь: только-только господин Лазарев подумал, а чай уже на столе. Сделав большой шумный глоток, господин Лазарев блаженного вздохнул, промокнул полотенцем заблестевшие на лбу мелкие капли пота.

– Башилин Никифор Климентьевич. Этакий двухметровый весельчак-балагур, скажет несколько слов и сам же заливается жеребцом. Из рабочих, на нашем железодельном заводе начинал. Я слышал, пролетарием Башилин довольно ленивым был, нерасторопным и вороватым, к тому же за воротник изрядно закладывал, иногда своими же бит бывал, в конце концов, угодил в острог, там примкнул к политическим. Оно, конечно, прокламации расклеивать да бастовать куда веселей, чем целыми днями железо обрабатывать, только и тут не шибко Никифор Климентьевич преуспел, всё больше на побегушках, в большие чины не вышел, так и бегал в штафирках до самого большевистского переворота. Дальше двинулся в чекисты, дослужился до товарища начальника. Особых сыскных качеств не проявлял, все больше со спе-

кулянтами боролся да самогонщиков отлавливал. Ну и, конечно, реквизициями да обысками командовал вместе с Оленецким. Они дружки были, тот студент бывший, интеллигенция, значит, а Башилин – рабочий. Каламбур получается: председатель ЧК – крестьянин, товарищи, то есть заместители – пролетарий и интеллигенция. Действительно, рабоче-крестьянская диктатура. Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а также с прослойкой из интеллектуалов.

– То есть, был ещё и кто-то из солдат?

– Совершенно верно! Да Вы, Николай Васильевич, чай-то пейте, остынет. Чай надобно только горячим потреблять, иначе не чай получится, а недоразумение. Так вот, из солдат был Троянов, Иван Николаевич, редкостная сволочь!

– Да? – Северианов слегка пригубил обжигающий напиток. Чай, действительно, был отменен: душистый, сдобренный для аромата какими-то травами, в меру сладкий, в общем, выше всяких похвал. – Большой мерзавец?

Прокофий Иванович поморщился, словно чай был слишком горяч, и от этого заныли зубы.

– Да не в этом дело. Он идейный, Троянов. Фанатик. Реквизициями рук не пачкал, всякую шуштуру не трогал, только господ офицеров разыскивал да тех, кому Советы поперёк горла. Взятки не брал, святого из себя строил. И при всем, безнадежно отчаянный, забубённый. Командир боевой группы ЧК. Ловкий, сволочь. Пять раз убить пытались – ему как с гуся вода. В последний раз стрелок на чердаке против дома Троянова залег, и винтовка у него английская с прицельной телескопической трубой. Только Троянов из дверей вышел – выстрелил, но тот ловчее оказался: каким-то чудом вывернулся, в общем, промазал стрелок. Завязалась нештучная перестрелка с погоней. Может, и ушёл бы стрелок, да винтовку пожалел бросить, так и сгубила его жадность. Подстрелил Троянов беднягу. Наповал. А при освобождении города, говорят, много крови нашим попортил.

Про это Северианов знал, и знал гораздо лучше Прокофия Ивановича Лазарева.

Генерал Васильев операцию по взятию города Новоелизаветинска начал тактически грамотно и весьма талантливо. Утром 18 июня, пока штурмовые цепи подполковника Бармина, поддерживаемые артиллерией, вяло перестреливались с занявшими оборону на окраине города, в районе Большой Махаловки и лесопильного завода бойцами Особой Новоелизаветинской красных коммунаров стрелковой бригады; эскадроны атамана Зубатова обошли город стремительным броском, прорвав слабое сопротивление красных, пронесли к Царицынскому железнодорожному вокзалу, повсеместно сея ужас и смятение. Поддавшись всеобщей панике и не оценив объективно сложившуюся обстановку, командир бронепоезда «Красный дозорный» скомандовал отступление, и бронепоезд, поджав хвост, уполз из города трусливой гадюкой, вяло огрызаясь редкими пулемётными очередями, и уже не представляя грозную силу. Захватив почти бескровно вокзал, атаман Зубатов, развивая успех, продолжил наступление в центр, подчиняя себе район за районом, стараясь разрезать город напополам, сметая всякое сопротивление, безжалостно и неумолимо. Почти одновременно ударный батальон подполковника Зданевича высадился на пассажирской пристани реки Вори и, развернувшись в боевой порядок, стремительным ударом захватил её. Оборонявшие пристань бойцы Первой стрелковой красных коммунаров дивизии «... оказались к бою совершенно неспособными вследствие своей тактической неподготовленности и недисциплинированности», сопротивление оказали вялое, а три сотни отборных головорезов, венгров и сербов, до сего момента гордо именовавшихся «Интернациональный батальон Красной гвардии имени товарища Марата» в полном составе перешли на сторону белых. Сдерживающие натиск отрядов подполковника Бармина красноармейцы, предчувствуя удар в спину и окружение, спешно начали отступление, оставив в подарок противнику почти всю артиллерию, тут же развернутую против бывших хозяев. Разгром был страшен и молниеносен, однако в районе Дозоровки, опьяненные победным кура-

жом и удалью, белые неожиданно натолкнулись на ожесточённо-неумолимое сопротивление и противоление. Боевая группа Новоелизаветинской чрезвычайной комиссии во главе с товарищем председателя ЧК Трояновым, бывшим фронтовым разведчиком, усиленная пулемётным взводом Красной гвардии, а также анархистами отряда «Чёрная смерть» матроса Драгомилова, не только не разбежалась, а, наоборот, прижав цепи пулемётным огнём, молниеносно перешла в контратаку, и теперь уже белым пришлось стремительно отступать. Было красных немного, гораздо меньше, чем атакующих, но помня, что терять им нечего, чекисты и красногвардейцы дрались насмерть. Матросы-анархисты также проявили себя с самой превосходной стороны: в то время как по всему городу отряды красноармейцев разбежались или массово сдавались в плен, драгомиловские «братишки» полностью оправдали свое название «Чёрная смерть». Когда на плетущихся в полуприсяде барминских окопников, неубедительно выкрикивавших вялое сухопутное «Ура!» обрушилась в яростной штыковой разъярённая чёрная масса с ужасающим ревом «Полундра!», победоносно наступавшие мордвороты рассудительно и благоразумно предпочли отойти, проще говоря, начали отчаянно драпать. И хотя, предупредительный выкрик «Полундра», искаженное *fall under*, обозначал всего лишь «берегись предмета падающего сверху», чернобушлатная драгомиловская *братва* вызвала у сухопутных вояк поистине животный ужас. Лихо проскакавшие полгорода казаки Зубатова, почти не встречавшие сопротивления, лишь изредка срубая на полном скаку бегущих красных, были брошены на прорыв. Готовая с налету перерубить, словно лозу, нахально застрявшую в горле Дозоровки кость, лихая сотня вылетела на Сторожевую площадь, развернулась лавой для атаки на красную сволочь и, как сказал бы известный новоелизаветинский поэт и прозаик Юрий Антонович Перевезенцев: «Солнце грозно сверкнуло на кончиках шашек, да прищурился молодецкато юный хорунжий». Однако, к великому сожалению, юный хорунжий прищурился в самый распоследний раз: обрушившийся на лаву злой кинжальный огонь четырех «Максимов» мгновенно завершил так и не начавшийся бой, превратив его в безжалостный расстрел, в кровавую кашу, в ужасно натуралистическую иллюстрацию поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино»: «Смешались в кучу кони, люди. . .» Станковый пулемёт Максима образца 1910 года имеет скорострельность 600 выстрелов в минуту, кавалеристы не успевали разворачивать лошадей, пулемёты голодными волками заглатывали патронные ленты, непрерывные очереди рвали некогда стройно-красивый ряд атакующих, а с крыш полетели ручные гранаты. В течение дня подполковник Бармин предпринял ещё несколько безуспешных попыток выковырнуть красных из Дозоровки, но чекисты вгрызались зубами и волна атакующих, потеряв под огнём «Максимов», очередную часть полка, вновь и вновь откатывалась. Тогда Бармин подтянул артиллерию, но красные, прекрасно ориентируясь в недрах Дозоровки, каким-то диковинным образом умудрились просочиться, словно вода сквозь пальцы, в тыл артиллеристам и с очередной «полундрой» забросали батарею гранатами, подорвали пушки динамитом, после чего, спроворив своё чёрное дело, молниеносно растворились, ушли.

Любая выдержка, любое присутствие духа имеют свои границы, и размеры их вовсе не чрезмерны. Доколе же можно нянчиться с этой красной сволочью – терпение наконец лопнуло у всех, и чекистов начали давить планомерно и безостановочно, используя численное превосходство и не считаясь с потерями. Заваливая трупами улицу Заставскую, красных выдавили на улицу Порубежную, оттуда, потеряв половину личного состава Особой офицерской роты, на улицу Засечную.

– Геройства не надо! – говорил Троянов, быстро и сноровисто снаряжая барабанные каморы нагана патронами. – Наша задача не удержать город, а вывести из строя как можно больше беляков. Экономим боеприпасы, бережём жизни. Город потом обратно возьмем, никуда не денемся, чем больше противника положим, тем потом легче будет.

Драгомилов речей не говорил, лишь бешено скрипел зубами. В прожжённом бушлате, с перевязанной головой, он непрерывно вёл огонь из маузера К-96.

Когда закончились патроны, остатки боевой группы привели пулемёты в негодность и отошли, исчезли, растворились. Дорого далась победа генералу Васильеву: оттянув на себя силы подполковника Бармина и кавалеристов Зубатова, боевая группа чекистов дала возможность основным силам красных прийти в себя, оправиться от жесточайшего разгрома, перегруппироваться, некоторое время продержаться и организованно отступить. Правда, от зловредной боевой группы осталось лишь несколько человек, но среди убитых не обнаружили ни Троянова, ни командира матросов-анархистов Драгомилова, их с усердием разыскивала контрразведка, пока, впрочем, безуспешно.

Результаты операции в Дозоровке были поистине неслыханными: получалось, что каждый мерзкий чекист, каждый поганый матрос-анархист, каждый рабочий-красногвардеец, гнусь, мразь, тварь, ничтожество, мерзопакость, шваль, пролетарская сволочь утянул за собой более десятка опытейших воинов. Огорчённые подобным итогом, белые совершенно утратили интеллигентское слюнтяйство и слюнявую интеллигентность и пленных брать перестали. Излишне и зазря наорав и на Бармина, и на атамана Зубатова, генерал Васильев расстроился: подчинённые явно не заслуживали такого обращения. Самым огорчительным было то, что в Дозоровке потери нанесли не регулярные части Красной Армии, а какая-то самозванная военная шваль, солянка сборная, ошметки большевистского режима.

– За голову Троянова, либо Драгомилова получишь капитанские погоны немедленно, – сказал Северианову начальник контрразведки Пётр Петрович Никольский. – За живых или мёртвых, значения не имеет. Это вопрос чести, или, как говорят в футболе, гол престижа.

– Троянова Вам искать надо, Николай Васильевич, – задумчиво проговорил Прокофий Иванович. – Этот, если жив, обязательно вредить будет, подпольем большевистским заправлять. В городе знакомых много, в Дозоровке обязательно помощь и поддержку поимеет.

– Спасибо. Вы назвали всех?

– Был ещё некто Костромин, но его я не знаю, слышал только, что такой товарищ существует.

– Понятно! – кивнул Северианов. – Теперь ещё один вопрос. Насчёт реквизированных ценностей. Товарищи чекисты как-то оценивали их, или просто сдавали на вес? Я имею в виду, был ли в ЧК свой специалист, золотых дел мастер, или они обращались к кому-нибудь из городских ювелиров?

– Насчёт этого тоже, к сожалению, ничего не знаю. Но постараюсь Вам помочь. Попробуйте обратиться к Ливкину Семёну Яковлевичу, старейший городской ювелир, он обязательно присоветует чего-либо стоящее.

– Спасибо! – Северианов поднялся. – Вы рассказали много интересного и очень полезного, я искренне рад, что обратился именно к Вам. А за сим, как говорится, не смею больше задерживать своим присутствием.

Глава 3

Несмазанные петли взвизгнули мартовским котом, полуденной рындой отозвался дверной колокольчик – и Северианов очутился в маленькой уютной мастерской, посредине которой склонился над столом хозяин – круглый колобок с короткими руками-ногами, густой курчавой шевелюрой и десятикратным монокуляром в глазу. Толстые пальцы-сардельки колдовали над брошью-стрекозой, и Северианов не увидел, как это произошло, но на золотой голове вдруг возникли два изумрудных глазка и один сверкнул отражённым зелёным светом, словно подмигнул.

Северианов с благоговением относился к мастерам своего дела, профессионалам, которых называют магами и волшебниками, у которых в руках всё горит, всё спорится, а сами руки считаются золотыми. Его восхищал, например, дворник, одним движением колючей метлы выметавший сор из трещины в мостовой величиной с игольное ушко. Или плотник, грубым топором выстругивающий из сучковатого толстого полена изящный питьевой ковшик. Или художник, лёгким тычком широкой кисти прописывающий тонюсенькую веточку с сотней листочков. Поразительно! Северианов всегда считал, что настоящий живописец, мастер колорита с тщательной скрупулезностью прорабатывает каждый листочек, каждую травинку, каждую шероховатость на коре дерева. Но подполковник Вешнивецкий, имевший какую-то подчас животную страсть к живописи, работал толстой кистью и восхищал Северианова точными мазками. Казалось бы, простая мешанина красок, какофония цвета – один точный, даже точечный удар кончика колонковой кисти – и изумрудно-охристое месиво на холсте становится густой кроной берёзы, ольхи, дуба! Северианов никак не мог понять этого. У многих его знакомых было хобби, пристрастное увлечение, любимое занятие. Подполковник Вешнивецкий писал изумительные пейзажи, а головорез и хладнокровный убийца Малинин подчас на досуге сочинял слезливые романы о любви сопливого гимназиста к такой же сопливой гимназисточке. Лениво перебирая струны, Малинин задушевым голосом мелодично рассказывал о страданиях и вожделенных мечтаниях незрелого юноши, и Северианову казалось, что это не его напарник, многоопытный диверсант и лучший в мире стрелок, капитан Малинин сочиняет всю эту высокосветскую мелодраматическую муть, а какой-то неоперившийся отрок, юнец, подросток. А может быть, в душе Малинин и был таким отроком, может быть страдал от неразделённой страсти, Северианов не знал.

Волшебник продолжал своё колдовское дело. Стрекоза помахала бриллиантовыми крыльями, выгнула и опустила сапфировый хвост. Блеснули золотом паутиновой толщины лапки, пухлый палец ювелира почесал, лаская, изумрудно-зелёное брюшко.

– Я, конечно, не вовремя, – сказал Северианов.

Семён Яковлевич Ливкин улыбнулся.

– Не смею отрицать очевидного, молодой человек. Вы, действительно, чертовски не ко времени. Но, увы! Люди Вашей профессии имеют обыкновение всегда появляться подобным образом и как правило не спрашивают, имею ли я время и желание для беседы с ними. Если скажу, что сильно занят – это ведь не заставит Вас уйти, напротив, Вы станете более настойчивы и менее деликатны, нет?

Теперь улыбался Северианов. Ювелир ему нравился. Очень нравился. Небольшой прозрачный камень, словно сверкающая капля воды, дождевой упал на левое крыло стрекозы, и Северианов готов был поклясться, что она вздрогнула, словно отряхиваясь.

– Я не задержу Вас надолго. Всего несколько вопросов – и я перестану докучать Вам своим присутствием.

Ювелир вздохнул.

– Ох, молодой человек, Ваши бы слова да Богу в уши. Последний раз подобную фразу я слышал от преинтеллигентнейшего и премилого мальчика из городской ЧК.

– И что?

– К сожалению, он изволил солгать – после нашей встречи я провёл несколько не самых лучших дней своей жизни в заключении, а в мастерской моей устроили тщательнейший обыск. Всё, что им удалось найти пошло на нужды мировой революции. На удовлетворение, так сказать, потребностей победившего пролетариата.

Семён Яковлевич Ливкин работы не прерывал, продолжал скупыми движениями пальцев ласкать брюшко драгоценной стрекозы, так что казалось, что голос его исходит откуда-то изнутри, и ювелир имеет весьма немалые чревоушительные способности.

– Но нашли, конечно, не всё? – Северианов не спрашивал, он утверждал. – Думаю, всякую ерунду, мелочёвку, а по неграмотности своей приняли за ценности, так? Что-либо существенное Вы ведь не станете держать на виду, а надёжно укроете, так, нет?

– Вы задаёте очень щекотливые вопросы, господин штабс-капитан, – ювелир наконец оторвался от работы, в упор посмотрел на Северианова, посерьёзней, глаза налились свинцовой тяжестью, круглый и мягкий колобок мгновенно превратился в чугунное пушечное ядро. – У меня складывается неприятное ощущение, что Вы пришли с той же целью, что и давешний мальчик из ЧК.

Северианов улыбнулся:

– Ну что Вы, отнюдь. Неужели у меня столь грозный вид?

– Внешность не всегда соответствует содержанию. Поверьте, тот чекист тоже выглядел весьма мило и дружелюбно. И говорил ласково, как с несмышлёным младенцем: зачем, мол, мучаете себя и нас, высокочтимый Семён Яковлевич, всё равно побрякушки ваши найдём, но тогда уж Вам хуже будет, поверьте.

– И как звали того милого мальчика?

– О, его звали товарищ комиссар Оленецкий Григорий Фридрихович. Этаким черноокий красавец. Знаете, высокий, волосы смоляные как воронье крыло, глаза горят революционным огнём, просто пылают. Куртка размера на два больше, новая, необмятая ещё, аромат кожи настолько привлекателен, что приступ дурноты вызывает, фуражка со звездой, офицерская полевая сумка – просто картинка, загляденье. Из студентов, идейный революционер!

Ливкин вдруг замолчал и, прищурился, посмотрел на Северианова внимательно-оценивающим взглядом, словно на драгоценный камень, выискивая малейшие изъяны, одному только ему видимые недостатки совершенного с виду алмаза. Ощущение было весьма неприятным: Северианову показалось, будто ювелир ощупал его взглядом, словно обыскал, – и содержимое карманов умудрился проверить, и даже мысли в голове каким-то неведомым способом сподобился прочесть. Будь на месте штабс-капитана человек более тонкой душевной организации, более впечатлительный, более эмоциональный и деликатный – этакое взгляда мог и не выдержать, смутиться, отвести глаза. Проиграть зрительный поединок, одним словом. Но Северианов лишь слегка улыбнулся, одними кончиками губ.

– Продолжайте, Семён Яковлевич, будьте любезны. Что дальше?

– Оленецкий погиб незадолго до того, как большевики сдали город. Так, во всяком случае, мне сказали во время очередного обыска. На сей раз руководил неприятной процедурой сам председатель ЧК Житин, он оказался гораздо грубее Оленецкого, хамовитее. На мой вопрос, где тот красивый мальчик, что имел удовольствие обыскивать мое скромное заведение в прошлый раз, Житин злобно сказал, что комиссара Оленецкого убили такие, как я, можно подумать, я могу кого-либо убить крупнее комара.

– Значит, Вы не в курсе, как погиб Оленецкий?

– Увы, откуда же мне знать.

– Скажите, а в тот раз чекисты много изъяли у Вас?

Ювелир поморщился, как от ноющей зубной боли, брови взметнулись и замерли ледяным торосом.

– Ничего существенного они не нашли. Не сумели найти.

– Вам не приходилось позже встречать *товарища* Житина? Может, случайно видели где-нибудь?

– Нет, не видел. Слышал только, что он сбежал с реквизированными ценностями. Ну что ж, поступок для него, конечно, не очень красивый, зато весьма и весьма прибыльный.

– И какова цена его добычи?

Ювелир ещё раз внимательно посмотрел на Северианова.

– Думаю, около полумиллиона золотом. Это минимум, скорее, даже больше.

– Там было что-либо особенно ценное? Может быть, какой-либо раритет, уникальная вещь?

Семён Яковлевич поднял стрекозу на уровень переносицы, внимательно посмотрел в изумрудные глаза.

– Что Вы имеете в виду? Что может быть уникального в нашем захолустье? Бриллиантовое кольцо и серьги императрицы Елизаветы Алексеевны? Изумрудный перстень светлейшего князя Меншикова? Золотой кулон с голубым бриллиантом княгини Лобовой-Вейтейской? Не смешите, молодой человек! Подобное возможно встретить в столице, а уровень Новоелизаветинска – вот! – Семён Яковлевич погладил правым указательным пальцем стрекозу по голове, которая при этих словах, как показалось Северианову, расправила крылышки и даже изобразила полупоклон. – Не тщите себя надеждами! Мы все друг у друга на виду, только кажется, что каждый наособицу. Если у Исаака Либермана появятся любимые серьги государыни императрицы Екатерины Второй, то Валерий Недбайло будет точно знать, у кого и за какую сумму Исаак их приобрёл, а Миша Горяев постарается их перекупить ещё до того, как Исаак хорошенько рассмотрит чистоту бриллиантов в этих серёжках. Если алмаз «Dreamboat», по-нашему – «Голубая мечта», только сверкнёт где-то в пределах версты от городской окраины, как все уважающие себя ювелиры выстроятся в очередь у той самой версты... Нет, молодой человек, ничего раритетного не было у Житина, я, во всяком случае, в этом уверен!..

Семён Яковлевич Ливкин внезапно замолчал, словно последнее слово застряло в горле, словно он задохнулся, словно язык закупорил гортань. Дверной колокольчик резко взвизгнул испуганной дворняжкой, и в мастерской появились новые персонажи. Трое. Картина Ильи Ефимовича Репина «Не ждали». Ненаписанный роман Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление без наказания». Новая модная картина синематографа «Смерть у порога». Или просто очередное рядовое ограбление: три откровенно бандитских личности с пистолетами и ясными как солнечный день намерениями. Сейчас должна последовать ставшая уже обыденной фраза: «Спокойно, это налёт!», сопровождаемая таким же обыденным выстрелом в потолок или в грудь человека в военной форме, то есть в грудь штабс-капитана Северианова, а затем привычное изъятие ценностей в пользу, как теперь принято говорить, деклассированного элемента.

Главарь был невероятно красив изысканной бандитской красотой: пепельно-косая чёлка из под выдавшего много лучшие времена картуза, непрременнейшая золотая фикса на месте верхнего резца, ультрамариново-грязная тельняшка под снятым с какого-то подвернувшегося под лихую руку бедолаги официального сюртука и синие татуированные фаланги пальцев. Подполковник Вешнивецкий мог бы, по всей вероятности, написать с него портрет лихого человека, иллюстрацию к уголовным романам о жизни московского дна. Впрочем, подполковник Вешнивецкий, скорее всего, при виде данной красочной особи забыл бы о своих талантах живописца и поступил бы с несостоявшимся натурщиком несостоявшегося же шедевра криминальной романтики сообразно своим основным умениям. Либо выстрелил аккурат между

великолепной чёлкой и золотым зубом, либо, что свидетельствовало бы о хорошем настроении подполковника и несвойственном ему либерализме, вырубил татя коротким прямым ударом, а потом связал ему руки за спиной, перетянув верёвку через горло и подвязав к согнутым ногам.

Двое остальных были под стать главарю: одетые в человеческую ливрею орангутанги, уверенные в собственной исключительной силе и безнаказанности, культурой поведения не обезображенные, как говорится, совесть под каблуком, а стыд под подошвой. Оружие в слоновьих пальцах казалось продукцией фабрики игрушек товарищества «Дюпре и компания», у всех были автоматические браунинги М1900, про которые в журналах писалось: «Безопасное и верное оружие для самозащиты, устрашения и поднятия тревоги. Вполне заменяет дорогие и опасные револьверы. Поразительно сильно бьёт. Необходим всякому. Разрешения не требуется. 50 добавочных патронов стоят 75 копеек, 100 штук – 1р.40 коп. При заказе 3 штук прилагается один пистолет бесплатно...».

Лицо ювелира стало мраморно-бледным, задрожали пальцы-сардельки, а стрекоза, если бы могла, спикировала под стол. Сейчас ей наверняка хотелось сбросить бриллиантовое обмундирование и притвориться грошовой бижутерией, изделием из позолоченного металла и цветных стекляшек.

Офицерская форма действовала на бандитского главаря, как красная тряпка на быка, он мгновенно выстрелил в Северианова. Вернее, это ему так показалось, что мгновенно. Пистолет Браунинга, модель 1900, или Браунинг N 1 имел перед севериановским наганом огромное и убедительное преимущество в габаритах и массе, быстроте перезарядки и, главное, в величине усилия спуска, напрямую влияющей на точность стрельбы. Но сейчас всё это не имело решающего значения. Это ведь только кажется, что для производства выстрела надо всего лишь нажать на спусковой крючок. На самом деле перед выстрелом стрелок делает произвольное движение рукой вперед и вверх, движение почти незаметное простому человеку и занимающее микроскопическую долю секунды... Но этой доли секунды опытному бойцу достаточно, чтобы уйти с линии поражения и сбить прицел! Северианов не думал, тело действовало само: мгновенно широкий шаг вправо, корпус вниз и вбок, к опорной ноге, правая рука вырвала револьвер из кобуры ещё до того, как тело пришло в конечную точку. Выстрел. Северианов стрелял самовзводом, держа наган горизонтально, так меньше погрешность от сдёргивания. Продолжая движение, перекатился через плечо, не прекращая вести огонь.

Выстрел.

Выстрел.

Выстрел.

Главарь удивлённо посмотрел на Северианова открывшимся во лбу третьим глазом, подручные получили по пуле в корпус – и вся троица синхронно повалилась на пол. Резко запахло сгоревшим порохом, после оглушающего грохота выстрелов наступила вязкая тишина, в которой громко шуршали крылья бриллиантовой стрекозы, и гулко ухало сердце Семёна Яковлевича Ливкина. Ювелир безмолвствовал, словно народ в последней сцене трагедии «Борис Годунов». Лицо его застыло в безысходном трепете, изменив оттенок с мраморного на васильковый, нижняя челюсть безвольно опустилась, а слова застряли где-то в районе пищевода. Не опуская оружия, Северианов резким движением выбросил себя с пола вверх, метнулся к входной двери, рванул на себя. Опасаясь встречного выстрела, сразу на улицу не выскочил, выждал секунду, кувыркнулся вниз через правое плечо, откатился в сторону и, привстав на колени, изготовился к стрельбе. Улица была пустыня, словно всё население или вымерло или просто предалось сладостному послеобеденному отдыху, лишь одинокая извозчицья бричка резво взяла с места и понеслась по мостовой, с головокружительной скоростью вращая обтянутыми резиной металлическими колёсами. Кто в бричке: четвёртый преступник или просто испуганный извозчик, Северианов не знал, поэтому вместо огня на поражение, выстрелил в воздух.

С брочки быстрым неугомонным снарядом слетела маленькая фигурка, метнулась во дворы, Северианов мгновенно поймал ее на мушку, и указательный палец начал свое неумолимое движение, но фигурка была слишком маленькой, подросток, мальчишка, подумал Северианов и, вскинув дуло вверх, снова пальнул в воздух. Извозчикий фаэтон стремительной неуправляемой стрелой уносился вдоль по улице, Северианов вернулся в дом, шагнул к мёртвым налётчикам. Тем было уже всё равно, никаких признаков жизни. Северианов зафиксировал отсутствие пульса, только после этого достал патроны и доснарядил барабан. Вернул револьвер в кобуру и посмотрел на ювелира, как заботливый хозяин на больную собаку.

– Семён Яковлевич, с Вами всё в порядке? Вы можете говорить?

Ювелир сипел, он выдавливал, вынимал из себя слова, как недавно Северианов стреляные гильзы из камор револьверного барабана.

– Что? Это? Было?

Северианов был спокоен, как закусывающий кроликом удав.

– Не поручусь за точность, но, скорее всего, рядовое ограбление. Бандитизм—с, – Северианов сноровисто обыскивал тела мёртвых налётчиков. На столе кроме трёх браунингов появились золотые часы, самодельная финка, несколько мятых денежных купюр, россыпь мелких монет, засаленная колода карт, набор фотографических открыток с полу- и совершенно обнажёнными дамами, склянка с кокаином. Штабс-капитан понятиливо усмехнулся.

– Полный джентльменский набор!

Ювелир словно не слышал его. А может, и действительно не слышал. Он поднялся, через силу переступая короткими ногами, вышел из комнаты, вернулся с перламутровой от пыли бутылкой.

– Я не пил уже очень давно, – сказал он, с титаническим усилием вывинчивая непослушную пробку. – Но...

– Очень рекомендую, – кивнул Северианов. – Весьма способствует снятию стресса. Лучше сразу граммов сто пятьдесят – двести.

– Вы? – Ливкин заговорщицки и слегка подобоострастно посмотрел на Северианова. – Давно храню, коньяк ещё довоенный.

– Благодарю! – кивнул Северианов, – Право не стоит. Что, товарищи чекисты не употребили во время обыска?

– Не нашли, – сказал Ливкин, – Вернее, не подумали, что в сей непритязательной таре может быть столь благородный напиток.

Ливкин налил янтарно-коричневой жидкости половину чайного стакана, вылил в рот одним движением и проглотил без всякого выражения. Не поморщился и не выразил на лице признаков удовольствия и приятных ощущений, скорее, просто не почувствовал аромата и крепости, словно обычную воду пил. Прикрыл глаза, посидел с минуту застывшей мумией, потом повторил. Северианов ждал. Лицо ювелира постепенно меняло цвет с сумеречно-воскового на пурпурно-розовый, горло перестало сипеть и клекотать.

– Что теперь будет? – задал глупый, но естественный для его состояния вопрос. Северианов всё с той же невозмутимостью обедающего удава ответил.

– С Вами или с ними? Если с ними, то господам грабителям уже всё равно, и для них подобный вопрос больше не актуален, а с Вами?.. Выпейте ещё рюмочку, успокойтесь, придите в себя и завершите наконец свое великолепнейшее произведение искусства, – он с любовным восхищением кивнул на изумрудную стрекозу.

– Они, точнее, их сотоварищи могут прийти ещё раз...

– У Вас есть оружие? – спросил Северианов.

– Был раньше карманный пистолет, но чекисты отобрали.

– Понятно. Я, конечно, могу оставить Вам один из этих, – Северианов кивнул на горку пистолетов. – Но вряд ли это поможет. К сожалению, умение быстро и не раздумывая открывать огонь приходит только с опытом. Вам часто приходилось стрелять?

– Боже упаси!

– Я так и подумал.

– Зато Вы, как я увидел, овладели этим искусством в совершенстве, – в голосе ювелира появился неприкрытый сарказм, ирония: Семён Яковлевич постепенно приходил в себя.

– Увы! – пожал плечами Северианов. Удав докушал кролика и с недоумением посмотрел на другого кролика. – Скажу честно, отработал я скверно. Старею, наверное. Или испугался – положил всех троих наповал, а должен был хоть одного живым взять. Чтобы не гадать теперь, кто это такие, и что ещё можно ожидать... Вы их не знаете, случайно?

– Никогда не видел!

Семён Яковлевич вполне окрепшей рукой наплескал в стакан коньяку по самый край, сдвинул гранёные бока пятернёй и жадно, словно воду в знойную пору, опрокинул в рот. Одним могучим глотком схлебнул – только кадык вверх-вниз дёрнулся. Словно в стакане был лёгкий жаждоутоляющий напиток, что-то вроде кваса или грушевого компота.

– Это страшно! – сказал Семён Яковлевич Ливкин. – Страшно и весьма тоскливо. Знать, что тебя хотят убить, уничтожить – и ничего не быть способным проделать в свою защиту. Горесть и безысходность смертная, хоть волком вой!

Ювелир говорил вполне трезвым голосом. Он расстегнул две верхние пуговицы, явив изрядно волосатую грудь, сделал глубокий вдох, словно задышался, словно весь воздух вдруг непостижимым образом закончился.

– Плохо так, что дрожат руки и холодеют пальцы ног. И согреться невозможно! И изменить ничего нельзя!

– Вы что-то совсем пессимистично настроены, господин Ливкин, – Северианов пристально вглядывался в глаза ювелира. – Не рановато Лазаря петь, на судьбу жаловаться? Пока что не повезло им, – кивок в сторону убитых налётчиков. – А вовсе не Вам.

– Вот именно, пока... Сегодня они, а завтра – я! Мы всё торопимся, стремимся всё успеть, не думая, что в какое-то ужасное и внезапное мгновение тело превратится в тлен, в прах.

Северианов перевёл взгляд с лица Семёна Яковлевича Ливкина на полупустую бутылку и осуждающе покачал головой.

– Что-то Вас не в ту степь заносит, Семён Яковлевич. Что называется, начали за здоровье, а кончили – за упокой.

– При чём здесь это! – досадливо поморщился Ливкин. Вы не понимаете, считаете, что это рядовой налёт, простое ограбление, а они приходили за моей головой, собирались убить.

– Да? С чего Вы так решили?

– Я чувствую это. Как только они вошли – сразу понял: сегодняшний день мне не пережить.

– У страха глаза велики.

– Вам легко говорить, господин штабс-капитан! Я перевидал более чем достаточно господ офицеров, Вы изрядно отличаетесь, словно из другого теста вылеплены. Вы слишком уверены в себе – в наше время это большая редкость, уж поверьте. Вы вошли не таясь, а я не услышал, а слух у меня, уж поверьте, дай Бог каждому! Ваша походка не такая, как у прочих: Вы двигаетесь мягко, бесшумно, как кошка. Вы приблизились, будто подкрались. Вы говорите слишком спокойно, равнодушно даже, без напускной бравады, мягко стелете, но не хотел бы я выспаться на той перине, что Вы приготовите. У Вас глаза застывшие, мёртвые. В них нет идейного пламени, нет никаких чувств, эмоций. Вы не станете подобно чекистам Оленецкого копаться в цветочных горшках в поисках золотых червонцев или простукивать стены. Вы, скорее, разберёте весь дом по камешкам, по брёвнышку, по досочкам или просто сожжёте, пепел

просеете и из пепла достанете всё укрытое. Вы начали стрелять раньше налётчиков, хотя у тех оружие было в руках, а у Вас – в кобуре, и они шли *на дело*, а Вы мирно беседовали со мной.

Коньяк всё-таки не вода, не грушевый компот и своё дело делает неукоснимо, подумал Северианов. Незаметно, исподволь под воздействием выпитого ювелир говорил такое, о чём в обычном своём состоянии предпочёл бы, разумеется, не то что умолчать, но даже не смел бы подумать. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке – поговорка древняя, но почему-то все её забывают, считают, что к ним она никакого отношения не имеет, и что в поединке с *зелёным змием* обязательно выйдут победителями, уделают супостата враз. Приняв на грудь известное количество спиртного, человеку всё начинает представляться в радужном цвете, радостным и приятным. И все, кто в данный момент находятся рядом, симпатичны и желанны. Им многое можно поведать, они поймут и где-то даже посочувствуют.

– Не могу! – выдавил из себя ювелир. – Не могу находиться с этими, – вновь кивок на убитых, – рядом. Давайте перейдём в соседнюю комнату, господин штабс-капитан, мне дурно делается.

– Как пожелаете.

Северианову показалось, что одиноко распластавшаяся на столе стрекоза обиженно посмотрела им вслед.

– Первым отправили на тот свет Осю Свиридского, теперь, судя по всему, пришла и моя очередь, – сказал Семён Яковлевич, с грузным скрипом присаживаясь на массивную деревянную кровать.

– Что?

– Осипа Свиридского, ювелира убили точно таким же образом, каким сегодня собирались расправиться со мной. А уж Ося среди нас самым бедным никудашником слыл, постоянно в долгах, всегда у него всё не слава Богу. Чем уж лихие люди собирались поживиться – ума не приложу, только зарезали Осю, как курёнка, вместе с семьёй.

– Когда это случилось?

– Да буквально за день-два-три до того, как большевики город сдали. Представьте: повсюду тревога, судьба Новоелизаветинска на волоске висит, где-то вдалеке канонада слышна, причём всё ближе и ближе. Кого может в такой момент волновать судьба какого-то несчастного ювелира?

– То есть, убийц так и не нашли?

Всё-таки коньяк изрядно отпускает всяческие тормоза, подумал Северианов, потому что ювелир посмотрел на него как на изрядного недоумка, позволившего себе нецензурно выругаться в приличном обществе, и залиvisto расхохотался.

– Вы это серьёзно полагаете, господин штабс-капитан? Да кто же искать-то будет, когда, так сказать, враг у ворот, и вот-вот уличные бои начнутся? ЧК что ли? Ха! Никто и внимания на сей факт не обратил.

– Подождите, Семён Яковлевич, бои уже в городе шли, или за несколько дней до этого? Согласитесь, всё-таки разница есть.

– Бросьте! В те дни такая неразбериха повсюду была, такой кавардак! Паника повсеместно. Режь-стреляй-убивай-насилуй кого хочешь – никто не почешется. Анархия и хаос!

– А что за человек был господин Свиридский?

– Ося? Осип Давидович Свиридский человек был весьма добрый и очень глупый. Не в том понимании, что олух царя небесного, а в том, что к жизни совершенно неприспособленный. Мастер замечательный, знаток ювелирного дела каких поискать, но всегда в долгах как в шелках, всегда без копейки, работал, можно сказать, себе в убыток. Не умел схалтурить и выгодно продать, не мог никакого профиту с мастерства своего поиметь, – Ливкин баюкал в руках коньячную бутылку, словно заботливая мать грудного младенца. – Все думают, что ювелир – это добрая фея, которая создаёт уникальные вещи, изделия взмахом волшебной палочки.

Спешу Вас расстроить, разочаровать, это тяжёлый труд. По сути, ювелир – это слесарь. Слесарь по металлу. По драгметаллу. Он должен обладать вкусом, он должен обладать глазомером, у него должна быть усидчивость, он не должен бояться тяжёлого труда. Но как это прекрасно, взять кусок металла, железа, по сути, и сделать из него гармонию, сделать из него великолепие. Использовать оригинальность, проявить фантазию, инженерную мысль. Не щёлчком волшебной палочки, как у феи, когда всё выходит этаким лёгким, ажурным, красивым. Щёлк – и пожалуйте бриться. Хочешь – фантастически красивый кулон, замечательной огранки. А хочешь – щёлк – бриллиантовое ожерелье, достойное самой королевы. Щёлк – по-царски величественное и великолепное украшение – изумрудно-рубиновое кольцо, эффектное, неповторимое. А? Мечта, блазн, фантастическое представление. Как скатерть-самобранка или двое из ларца, которые будут выполнять за вас всю и всяческую работу, – речь далась Семёну Яковлевичу с некоторым трудом, язык начинал цепляться за зубы, потому он налил ещё половину стакана и выпил. – Ювелир не будет жить, если он не будет интересен. Он не только должен уметь творить руками, он должен придумать оригинальную вещь. Например, рубин способен наделять неограниченной властью и оказывать непреодолимое воздействие на людей. Изумруд охраняет женщин и домашний очаг. Жемчуг даёт долгую жизнь и избавляет от любовных страданий, дурных взглядов и чёрных мыслей. Ну а уж бриллиант в представлении не нуждается. Бриллиант – это символ чистоты помыслов, пронизательности и бесстрашия. Он дарит своему хозяину высокую интуицию, дар предвидения, олицетворяет высокое положение, богатство и власть. И в то же время, если вы человек импульсивный, взрывной – то бриллиант не ваш камень, и его лучше часто не носить. Всё это необходимо помнить, стараться силами своего мастерства, умения придать изделию черты, наиболее выгодно характеризующие будущего хозяина, владельца.

Но это с одной стороны. Можно быть весьма искусным мастером, можно великолепно гранить алмазы, можно изготавливать совершенно уникальные украшения. Но это всего лишь полдела. Их ещё нужно уметь продать. Даже не столько украшения продать, сколько свой труд, свою индивидуальность, свой почерк, если хотите. Потому что заказчик, разумеется, захочет уплатить за изделие дешевле, чем стоят материалы, из которого оно изготовлено.

Круглое лицо ювелира сделалось совсем свекольного цвета, он допил коньяк, поставил стакан на столик. Вид маленького круглого человечка, поглощающего спиртное в изрядных для него дозах, был весьма необычен. Семён Яковлевич с преувеличенной тщательностью вытер носовым платком лоб, переносицу, щёки, губы и подбородок. Платок сразу же из влажного сделался просто мокрым, Семён Яковлевич сжал его в кулаке.

– Разумеется, понять можно, каждый: и Вы, и я, и абстрактный господин Иванов Сидор Петрович будем желать потратить на любое приобретение меньшую сумму. И это вполне естественно, и странно, если бы было наоборот. Нет, вне всякого сомнения, если Вы – поставщик Двора Его Императорского Величества или придворный ювелир Дома Романовых – любой заплатит Вам ту цену, которую Вы назначите, совершенно не торгуясь и ещё доволен будет, что Вы соизволили осчастливить его самой возможностью приобретения Вашего изделия. Тут уже имя говорит само за себя! Но, к сожалению, Ося Свиридский был никоим образом не Карл Фаберже. И не Луи-Франсуа Картье или Чарльз Льюис Тиффани. И даже если ему по силам было изготовить украшения ничем не хуже творений знаменитых ювелиров, то выгодно продать их он никогда не умел! Не имел к этому способностей. Главное – правильно подать, преподнести, так сказать, на блюдечке с золотой каймой. Кто-либо другой мог вложить в изготовление меньше труда, меньше умения, проявить больше лени и изрядной доли разгильдяйства и попустительства, зато расписать своё творение так, что меньшую сумму за сие уникальное произведение искусства, шедевр и предлагать совестно, неуместно. Кто угодно, только не Свиридский. Может, именно потому его и привлекли в ЧК.

– В каком смысле?

– В любой полицейской работе не только *держиморды* нужны, господин штабс-капитан. Не только следователи, либо заплечных дел мастера. Изъяли, допустим, у господина Микулина ценности – так поди узнай, сколько стоят, полущку или тысячу золотых рублей. Нашли при обыске у господина Парамонова драгоценный камень с голубиное яйцо величиной – попробуй определи: действительно бриллиант или стекляшка, искусно изготовленный страз. Это Вам не золотую монету на зуб пробовать, здесь специалист потребен. Хороший специалист, вроде Оси Свиридского или кого другого, без разницы, главное, чтобы в ювелирке разобрался и мог отличить подлинную красоту, силу и магию веков от нынешнего мошеннического творения. Потому господа большевики пользовали Свиридского в качестве эксперта. А куда деваться: приказали – и я бы пошёл, и другие. Тем более, не задарма – за паёк, за хлеб, так сказать, насущный. Кушать захотите – побежите как миленький, поскачете, опережая урчание в собственном голодном брюхе. А Осип Давидович в деле выявления подлинности и оценки большой докой являлся, пожалуй, одним из лучших. Знаете, господин штабс-капитан, мы живём в удивительное время, когда правда выдаётся за ложь, а враньё мы впитываем, как настоящую истину. Взгляд может обмануть, улыбка – лишь надетая на лицо гримаса, только драгоценности никогда не лгут, всегда правдивы, трогаяще-искренни и неподкупны. Известно, что цену камням, золоту и другим украшениям выдумали только чтобы найти хоть какое-то применение богатству. Золотом прикрывают пороки, перстни и кольца не делают человека лучше, добрее, но заставляют почувствовать себя более красивым, более значимым, придают внутренние силы. Золотая оболочка не способна украсить то, чего нет, а бриллианты могут лишь подчеркнуть красоту, но не прибавить несуществующей. Но раз уж человечество условилось считать камни и презренный металл эквивалентом благосостояния – их надобно учитывать и подсчитывать. И отделять зёрна от плевел. Чекисты – не налётчики, не разбойники с большой дороги. Они не отнимали, а изымали ценности – почувствуйте разницу, господин штабс-капитан. Это не грабёж – это проведение в жизнь воли государства, политики партии. Потому всё должно идти, как положено: изъяли, оценили изъятое, подсчитали, сдали. Как тут без оценщика обойтись?

– Вы словно оправдываете их действия, Семён Яковлевич. Я так полагаю, что для Вас, например, результат одинаковый: изъяли у Вас ценности чекисты или отняли налётчики.

– Не оправдываю, господин штабс-капитан, просто пытаюсь Вам объяснить. Против грабителей Вы можете предпринять какие-либо действия: заявить в полицию, например, или, как Вы, перебить их. И будете правы. Против чекистов же Вы бессильны. Не пойдёте же в ЧК жаловаться. Каламбур получится.

– Не получится! – жёстко сказал Северианов. – Как видите, власть переменилась, и теперь чекистов самих разыскивают. И не очень-то они от грабителей отличаются – главный чекист Житин, Вы сами сказали, с реквизированным золотом сбежал. Когда, говорите, убили Свиридского?

– За несколько дней до сдачи Новоелизаветинска.

– А когда исчез председатель ЧК?

– Примерно тогда же.

– А Вы не связываете эти два события между собой?

– Я? – глаза Семёна Яковлевича удивлённо округлились, выпучились, готовые вылезти из глазниц. – Что Вы, господин штабс-капитан, мне впору совершенно о другом думать. Все мы трусы. Мужества не существует, есть только страх. Страх боли, страх смерти. Храбрецы и герои умирают рано, лишь трусливые человеческие существа почему-то живут долго. И я грешен, хочу прожить ещё, если повезёт, десяток-другой лет и умереть в собственной постели от старости. Но очень похоже, что моим желаниям сбыться не суждено, и умру я весьма скоро и не по своей воле. Я боюсь. Я ужасно боюсь, господин штабс-капитан! Существовать, дрожать каждую секунду, ожидая, что за тобой придут, – что может быть отвратительней?

– К чему такие сумрачные мысли, Семён Яковлевич? Безвыходных ситуаций не бывает, просто не существует – всегда можно найти некое решение. Например, поехать к нам, на Губернаторскую, 8, но, увы, скорее всего, охрану вам не дадут. У Вас есть, где укрыться на неделю-другую? Такое место, о котором бы никто не знал, и лучше, чтобы не в городе?

– Допустим, – сказал Ливкин. – Такое место найдется, свояк мой, Мирон Савельевич Смолин живёт в Афанасьево, это вёрст десять от Новоелизаветинска, думаю – приютит, но не смогу же я прятаться всю жизнь...

– Всю жизнь не надо, неделю, максимум, две. Полагаю, что за это время я смогу решить Вашу маленькую проблему. А дальше – как Бог даст.

– А? – ювелир указал на дверь, как бы напоминая, что за ней находятся тела налётчиков. – С этим что делать?

– Не берите в голову, это моя забота. Их просто здесь никогда не было. Или Вы изволите сомневаться в моих способностях?

– Боже упаси! – в голосе Ливкина Северианов различил неприкрытый сарказм. – Уж в этом-то я не сомневаюсь!

– Поедете прямо сейчас, так что собирайтесь. Возьмите извозчика, я провожу Вас до выезда из города. На всякий случай. И ещё. Возможно, подельники убитых явятся сюда, чтобы, по меньшей мере, навести справки или с другими целями, неважно. Потому оставьте мне ключи и позвольте бывать в Вашем жилище, даже ночевать здесь. Не всё время, разумеется, но иногда. Если господа грабители или убийцы заявятся – я сумею встретить их с подобающим гостеприимством. Засада называется.

Семён Яковлевич Ливкин кивнул.

– Разумеется, господин штабс-капитан. Живите, не стесняйтесь. Можете вообще перебраться сюда – мне спокойнее будет, честное слово.

Он помолчал, боялся спросить, и Северианов кивнул.

– Живите у свояка, ни о чём не беспокойтесь. Через неделю-другую я надеюсь навестить Вас и сообщить: возвращаться в Новоелизаветинск или подождать ещё. Если через две недели меня не будет – значит дела пошли из рук вон плохо – тогда поступайте по ситуации.

– То есть?

– Война, господин Ливкин. Хочешь рассмешить Бога – сообщи ему о своих планах. Всякое может произойти. Честно предупреждаю: приложу все возможные усилия для решения Вашей проблемы и, если повезёт, непременно сообщу Вам.

– Я понял Вас, господин штабс-капитан. Буду ждать с нетерпением. Спасибо Вам!

Глава 4

Прапорщик Белоносов был юн, грозен и до неприличия румян. Лёгким тополиным пушком закручивались светло-охристые усики, такого же оттенка шевелюра зализана назад, огромная кобура угрожающе топорщилась на вкусно пахнущем свежей кожей широком ремне, а глядясь в зеркально-антрацитовые сапоги, можно было побриться. Рассматривая грозного мальчика с пистолетом, Настя вдруг с ужасом ощутила себя не такой уж и юной: прапорщик был на целый год, а то и, просто кошмар, на два года младше. Грозно сведя на переносице прозрачные брови, Белоносов перебирал бумаги, проводя розовым указательным пальчиком по строчкам с фамилиями, воровато бросая на Настю вождённо-мечтательные взгляды. Еще влюбится, испугалась Настя, хотя эти стыдливо-обожаящие взгляды были весьма приятны самолюбию. Предательски краснея, грозный прапорщик закрывал очередную папку и метал ее в кучку просмотренных.

– Нету! – с рязанским акцентом извинился Белоносов, раскрывая следующую. Очень похоже, что этот бесполезный труд, эта бессмысленная работа ему очень нравились. Нравилось присутствие рядом Насти, её облик, взгляд, жасминовый запах волос, – всё это вдохновляло прапорщика на новые сизифовы подвиги. Настя уже не верила, что юный Белоносов найдёт в бумагах ЧК фамилию любимого. Они уже два часа исследовали кипы захваченного при взятии города чекистского архива, но никакого упоминания о Викторе Нежданове не находили.

– Не переживайте, Анастасия Александровна, не иголка, чай, в стоге сена, обязательно след отыщется, – доблестный прапорщик продолжал помидорно краснеть, успокаивая Настю.

– Я уже перестаю в это верить, Георгий Антонинович.

Лицо Георгия Антониновича, которого и Жоржем-то редко называли, обычно, Жориком или Жоркой, превратилось из нежно-вишнёвого в густо-свекольное, он спрятал глаза в бумагах.

– Может, это и к лучшему, Анастасия Александровна, раз в списках нету – значит, жив!

– Вы полагаете?

– Разумеется! – скрипнул новенькой кожей ремня Белоносов, разгибаясь и молодецки подкручивая микроскопический ус. – Жив и здравствовать изволит Ваш жених. Ну, а если жив – мы его обязательно найдём!

«Мы» прозвучало многообещающе и слегка двусмысленно, щёки юного прапорщика пылали жаром как паровозная топка, он улыбнулся Насте и продолжил поиски.

Фамилия Нежданов отыскалась через полчаса. Увы, документ беспощадно облизал огонь, уничтожив более половины. В сущности, от листа остался небольшой огарок, можно разобрать лишь дату и несколько фамилий. Инициалы совпадали, но и только, больше ничего конкретного выяснить не представлялось возможным, замаячивший след обрывался. Белоносов лишь поскрипел ремнём и поправил кобуру.

– Будем искать дальше, – сказал Георгий Антонинович. – Кто ищет, тот всегда находит.

Он снова зашуршал бумагами, низко склонившись над столом, ещё немного – и коснётся носом, от усердия громко пыхтя, а Настя снова ощутила некую двусмысленность. Она почувствовала вдруг, что устала, устала от этого монотонно-томительного ожидания, неизвестности, постепенно исчезающей надежды. Утром её привёл сюда подполковник Никольский и с некоторой улыбкой отрекомендовал Белоносова: «Наш юный гений! Разыщет не только иголку в стогу сена, но даже душу грешника в преисподней!».

Юный гений сам напросился в контрразведку: мечтая вражеских агентов ловить, возомнил себя Шерлоком Холмсом, принцем Флоризелем и неизвестно каким ещё Пинкертоном, грозой преступного мира и асом контршпионажа. Поначалу хотел Пётр Петрович Никольский его в подвалы спустить – пленным комиссарам морды бить, пусть пообомнётся чуток, вкусит

тошнотворной романтики, да пожалел мальчишку, привёл сюда. Повсюду в небольшой сумеречно-ужасной комнате, сильно похожей на чулан, словно мусор валялись пыльные папки, отдельные листы, просто обрывки документов – серый бумажный ковёр, бумажное море, вперемишку со стреляными гильзами, а иногда и целыми патронами, пятнами крови, грязным тряпьем, папиросными окурками и прочей мерзостью – всё то, что осталось от делопроизводства ЧК. «Владей! – кивнул Никольский. – Разгребика, друг любезный, сии авгиевы конюшни, чтобы повсюду я наблюдал идеальный порядок. Чтобы не стыдно было приличных людей в оные пенаты приводить». Юнец поначалу яростью по самые брови налился, надулся радужным пузырьком, глазёнки молнии мечут, ну натуральный Зевс-громовержец, умора да и только, ну как же, гения контрразведки то ли в уборщицы, то ли в архивариусы, то ли, ещё ужаснее, в писаря определили. Но, что особенно Петру Петровичу понравилось, через обиду Белоносов переступил, комнатёнку вылизал до блеска, откуда-то с помощью солдат приволочил несколько обветшавших шкафов, разложил бумаги по полочкам – любо-дорого посмотреть. Даже ковёр персидский добыл, что особый уют комнатуске придало, и на чулан она походить перестала, а именовалась теперь кабинетом. Себе стол резной полукруглый спроворил, в общем, подполковник Никольский правильно паренька определил, да и сам Белоносов вдруг важностью проникся, любовно свой архив охаживал, знал, где какая бумажка обретается и где и что искать следует.

– Не проголодались ли, Анастасия Александровна? – спросил Белоносов. – Время-то бежит, уж и закусить пора, а? Чайком-с развлекься? У меня как раз булка ситного есть да кружок колбасы, а кипятку я мигом спроворю!

Настя покачала головой:

– Даже не знаю, Георгий Антонович, мне, право, неудобно утруждать Вас.

Она зря это сказала – настроенный романтическим образом Белоносов слушать никаких возражений не стал и тут же быстроногим галопом, скачками австралийского кенгуру умчался в обнимку с чайником куда-то из кабинета. Настя вздохнула и принялась внимательно изучать обгорелую бумажку с фамилиями. Таковых уцелело пять: Телегин, Хрусталёв, Нежданов, Георгиевский и Ливкин. Насте они ничего не говорили, но кому-либо из местных, тому же Белоносову, могли быть известны, а это уже ниточка, след, манкая надежда.

Юный борец со шпионажем, он же безраздельный хозяин архива ворвался в кабинет с пышущим жаром чайником. Великолепный обжигающий пар вулканировал словно гейзер, и Настя вдруг почувствовала острый мгновенный приступ голода, а прапорщик уже кромсал бритвенно острым лезвием златоустовского ножа поджаристо-белый хлеб, ровными полосками нарезал нежно-розовую колбасу, сдвинув документы на край стола расставлял прозрачно-стеклянные стаканы в серебряных подстаканниках, горкой насыпал колотый сахар и даже пузатая баночка варенья нашлась. Чай он пил степенно, с превеликим усердием, и Настя вдруг почувствовала к нему произвольную симпатию и даже некоторую нежность. Юный и грозный прапорщик Белоносов вдруг перестал быть грозным и остался лишь юным. Даже огромная кобура, которую он небрежным жестом передвинул далеко за спину, словно уменьшилась в размерах.

– Главное, мы установили дату, 18 мая, – говорил, делая изрядный глоток и уписывая бутерброд, прапорщик. – Дальше проще пойдёт. Переберём бумаги за последующее время, там, возможно, зацепимся. Красных выбили 20 июня, за месяц, следовательно, просмотреть надобно. Не велика работа, управимся!

– А фамилии людей из этого документа Вам знакомы, Георгий Антонович?

– Анастасия Александровна, пожалуйста! – взмолился прапорщик. – Зовите меня просто Георгием. Или Егором, Жоржем...

– Жоржем? – улыбнулась Настя. – Хорошо, Жорж! А Вы, соответственно, меня – Настей, договорились? И давайте, раз уж мы преломили хлеб, перейдём наконец-то на «ты».

– Но вы же княжна, – сопротивлялся прапорщик.

– Вы тоже на крестьянина не сильно похожи, – парировала Настя. – Так что насчёт фамилий?

Прапорщик Жорж допил чай, сыто потянулся и взял в руки обгорелый документ. Внимательно пошевелил губами.

– Телегин, Эм Пэ... Михаил Петрович, вероятно... Нет, не знаком. Хрусталёв? Нет. Георгиевский? Хм, Георгиевский... Как будто что-то слышал... Георгиевский, Георгиевский... О! – он в ажитации посмотрел на Настю. – Георгиевский Василий Иванович, так это же отец Василий, дьякон. Он в храме служит! В нашем храме, я в воскресенье был – собственными глазами наблюдал его, жив-здоров отец Василий! Вот видите, Анастасия Александровна...

– Жо-орж, – укоризненно протянула Настя. – Мы, кажется, договорились...

– Извините... То есть, извини, Настя... Распросим отца Василия – всё и выяснится.

Это была удача! С большой буквы удача. След уже не маячил, он явно высветился, горел электрическим фонарём на ночной улице.

– А фамилия Ливкин тебе знакома? Последняя из пяти.

– Ливкин, Ливкин... – Белоносов поднял глаза к потолку, словно там между белыми разводами скрывался ответ. – Что-то очень знакомое... Нет, я определённо слышал где-то эту фамилию, но где? Не могу вспомнить, извини... Еще по чашечке?

Хотя Жорж и уверял, что дальнейшие поиски титанического труда не представляют, и они управятся быстро, однако получилось наоборот. Теперь кроме фамилии Нежданов Настя и Жорж искали упоминания и о четверых прочих из списка. Но фортуна отвернулась от юных изыскателей: кропотливая работа оказалась бесполезной и больше они не нашли ничего. Отложив последнюю бумажку, прапорщик сочувственно и слегка смущённо развел руками.

– Увы, сама видишь, больше ничего. Но отец Василий – это след реальный, можем поговорить с ним. Я провожу, сама не найдёшь. – Он говорил как о чем-то решённом, не спрашивая мнения Насти.

– Пётр Петрович позволит тебе отлучиться? Не хочется, чтобы из-за меня у тебя возникли неприятности по службе.

Как ни желал Жорж показать свою исключительную важность и независимость, но благородие всё же взяло верх. Подполковник Никольский многозначительно улыбнулся:

– Ну что ж, съездите, развейтесь. Отец Василий мой хороший знакомый, передавайте нижайший поклон. Очень надеюсь, что ваш визит не будет напрасным, – Пётр Петрович с изящным достоинством вытянул свои великолепные часы, щёлкнул крышечкой и, слушая с наслаждением «Боже, царя храни», бросил изучающий взгляд на циферблат. – Времени уже преизрядно, на сегодня, господин прапорщик, свободны, завтра утром прошу ко мне с отчётом. И Вас тоже, Настенька. Если отца дьякона в храме не застанете, прогуляйтесь к нему домой, он на Баскаковой улице проживает.

Глава 5

Бывший чиновник сыскальной полиции, бывший инспектор уголовно-розыскной милиции, бывший лучший сыщик Новоелизаветинска, а то и всего уезда, а ныне человек без определённых занятий, без пяти минут арестант и большевистский агент, Кузьма Петрович Самойлов, безукоризненно, волосок к волоску, причёсанный, в халате ультрамариново-мятого сукна поверх белоснежной, хоть и изрядно застиранной сорочки важно и самодовольно, как монах с картины Василия Григорьевича Перова «Чаепитие в Мытищах», глубоко откинувшись назад на хлипком деревянном стуле, пил жидкий морковный чай из блюдечка, закусывая каменной твёрдости сухарями и прелой картошкой, печёной «в мундире». Блюде держал картинно-самодовольно, тремя пальцами, далеко отставив в сторону мизинец. Широко растягивая щёки, дул на поверхность и с шумом прихлёбывал, прикрыв от удовольствия глаза. Правда, Северианову это удовольствие всё же показалось напускным, ибо назвать чаем плескавшуюся в блюде бурду можно было разве что в насмешку. Сделав очередной сладкий глоток, гроза налётчиков и душегубов с оскорбительной вежливостью посмотрел на Северианова и безнадежно-печально спросил:

– Прикажете собираться?

– Не нужно, – сказал Северианов. – Можем поговорить и здесь, не отвлекая Вас от трапезы.

– И какова же будет тема нашей беседы, позвольте осведомиться? С каким заданием я оставлен в красном подполье? Где скрывается мой бывший начальник Панкрат Ильич Фролов? Почему я изволил служить у большевиков? Не стесняйтесь, молодой человек.

Северианов снял фуражку, присел на такую же хлипкую, как стул, табуретку, гоdivшуюся стулу в матери, если не в прабабушки. Из вещевого мешка выложил на стол нежно-розовый с прожилками шмат сала, кровяную колбасу, мягкий, пышущий свежеиспечённым ароматом хлеб, несколько сушёных рыбин и в центр всего этого нехитрого великолепия водрузил литровую бутылку местного первача.

– Это для некоторого разнообразия вашей снеди, – голос Северианова был невозмутимо равнодушен, истерическая вспышка Самойлова не поколебала ни одного мускула на лице. Самойлов иронично-насмешливо посмотрел на Северианова.

– Браво-с, господин штабс-капитан! Кнут и пряник, старо как мироздание. Кнута я отведал в вашем премилейшем учреждении на Губернаторской досыта, даже чересчур досыта. Теперь Вы пришли с пряником, причём, при моем бесправном и в нынешнее время нищенском положении, очень аппетитным пряником! Только совершенно напрасно – ничего нового Вы не услышите! Так что уберите свои яства и уходите: я не являюсь агентом большевиков, я не знаю, где Фролов, я не расклеиваю по ночам прокламации!..

– Прекратите истерику! – жёстко перебил Северианов. – Ведёте себя, как чёрт знает что!

Когда в кабинет Кузьмы Петровича вошли двое матросов, обвешенных пулемётными лентами и гранатами РГ-14, словно новогодняя ёлка гирляндами, под предводительством лучшего токаря-металлиста Головатинского завода, потомственного пролетария, а ныне – начальника уголовно-розыскной милиции Панкрата Ильича Фролова, Самойлов лишь развёл руками: владейте, господа-товарищи, не жалко. Кряжистый, лысый, с намертво въевшейся в поры смесью машинного масла и металлической пыли, Фролов с презрительной любезностью осмотрел «грозу преступного элемента» и поначалу с большевистским добродушием пообещал «шлёпнуть сейчас же за саботаж и контрреволюцию». Но потом зачем-то разрешил продолжать службу. Вероятно понимал Панкрат Ильич, что сложнейшую механическую деталь он, Фролов, изготовит быстро, качественно и с неведомым другим пасынком фортуны пролетарским удовольствием, что же касается сыска и дознания – вот здесь увольте... Розыскником Фролов

так и не стал, но руководителем оказался отменным: решительным и жёстким – во всяком случае на памяти Кузьмы Петровича таких не случалось. Не смысла ничего в криминалистике или криминологии, Фролов приводил аргументы доселе неслыханные: «революционное сознание» и «политическое чутьё». Что сие за понятия и с чем их положено кушать в городе почувствовали очень скоро. Под началом Фролова УГРО при поддержке бойцов Красной гвардии провёл несколько облав в Гусилище, Матросской слободе и Малой Дроздовке по эффективности многократно превысившие все облавы и обыски, осуществлённые полицией за последние десятилетия. Некоронованный король Дроздовки Прокофий Диомидович Дроздов изумился и не поверил, когда его водворили в камеру, ибо такого не могло быть. Поначалу он ерепенился, надеялся на закон, адвокатов и прочие пережитки старого режима, но перед формулировкой: «руководствуясь революционным сознанием и совестью» – оказался бессилён. Банду Ивана Тихоновича Василевского, кличка «Красавец», бывшего жандармского подпоручика, необыкновенно изящного и жестокого мерзавца, перестреляли без всяких экивоков, жёстко, со всей «пролетарской ненавистью». Казалось, Фролов всерьёз решил переделать мир, ибо преступников на дух не принимал. Кузьма Петрович лишь диву давался: Фролов и в милиции работал, как токарь, как привык. Взял в руки город, будто железный брусок, и медленно, но неукоснительно обтачивал, придавая сложную форму детали, снимая ненужное и лишнее. Металлическую стружку, опилки. Или преступный элемент. Может, что-то и вышло бы у него, но в город вошли белые. Прокофия Диомидовича Дроздова, жертву большевистского произвола, с почётом выпустили, Панкрат Ильич Фролов исчез, словно испарился, а красный сыщик Самойлов мгновенно угодил в контрразведку, как большевистский агент и адепт мировой революции. Напрасно он пытался что-либо объяснить, его не слушали, упорно допытывались, с каким заданием оставлен Кузьма Петрович в подполье, где скрывается его начальник Фролов, где спрятано оружие, задавая прочие бессмысленные, но обязательные вопросы. Через неделю интенсивных допросов, спасибо не били, Кузьма Петрович сам поверил, что он подпольщик, большевик, готовящий вооружённое восстание, покушение на жизнь Петра Петровича Никольского, начальника контрразведки, руководитель боевой группы и в прочую чушь. Поверил и, как само собой разумеющееся, ждал расстрела, но его неожиданно выпустили. На службу, понятно, не вернули, и зажил Кузьма Петрович Самойлов серым мышонком: тихо и незаметно, перебиваясь с хлеба на квас, стараясь никому не напоминать о своём присутствии и, вообще, существовании.

Северианов с тщательной осторожностью сидел на краю сомнительной крепости табурета. К его удивлению, древняя мебель не развалилась, а довольно-таки по-гренадёрски скрипела, но держалась.

– Я постараюсь не отнять у Вас много времени. Всего лишь небольшая консультация за скромное вознаграждение, – Северианов кивнул на стол. – Да Вы угощайтесь, право слово, не ведите себя как барышня. Примите это всего лишь как оплату потраченного на меня времени.

– Я слушаю.

– Так вот, как я уже говорил, мне необходима небольшая консультация. Всего лишь несколько вопросов. К величайшему сожалению, благородному делу сыска я не обучался, приходится обращаться к Вам как к профессионалу. Я опишу Вам некоторых... – непроизвольно Северианов сделал короткую паузу, – так сказать, людей, а Вы уж постарайтесь опознать кого-либо из этих представителей Homo sapiens, хотя в последнем я не совсем убеждён, – он бегло, хотя и подробно описал убитых «гостей» ювелира. – Знакомые личности?

Самойлов не задумался ни на мгновение:

– Не бином Ньютона! Это Васька «Хрящ» и Митька «Упырь», третий, скорее всего, Яшка «Большой». Налётчики и душегубы, личности весьма ограниченные, хотя и чрезвычайно опасные. Не советовал бы Вам с ними встречаться... Хотя... Вы слишком подробно описали их,

даже про родимое пятно на предплечье упомянули. Не думаю, что «Хрящ» при вас заголялся настолько. Из чего можно сделать вполне логичный вывод, что данная троица перестала быть опасной, так, нет?

– Сами по себе, или на кого-то работают?

– Раньше состояли в банде Смурова, в марте попали в засаду бандотдела губчека, главаря и ближайших подручных перебили, остатки залегли на дно, несколько месяцев знать о себе не давали, сейчас, следовательно, снова проявились.

Голос Самойлова был казённо-равнодушным, Северианов понял, что происшедшее мало волнует старого сыщика, по-видимому, крепко ему азарт отбили.

– Где они могли скрываться?

– Да много где. Раньше в Матросской слободе, местечко ещё то, днем-то гулять не рекомендуется, а уж ночью тем паче. В лучшем случае разденут донага, в худшем – выловят потом ниже по течению реки Вори. В Гусилище тоже лихих людей хватает. На Дроздовке...

– Понял, благодарю!

– Разрешите вопрос?

– Прошу Вас.

– Что случилось с этой троицей? Или секрет?

Северианов индифферентно пожал плечами.

– Никакого секрета! Просто роковая случайность. Оказались не в том месте и не в нужное время. Явились в гости, если можно так высказаться, к ювелиру, с порога открыли огонь на поражение, но силы свои переоценили и в ходе боестолкновения были уничтожены.

«Однако, – отметил Самойлов. – Полицейский сказал бы: попали в засаду и были ликвидированы... Боестолкновение, уничтожены – слова из другого лексикона». Он ещё раз внимательно оглядел Северианова, по профессиональной привычке почти бессознательно составляя словесный портрет. Ничего особенного, обычный армейский офицер, зацепиться не за что. Выгоревший на солнце, почти добела застиранный китель, изрядно потёртая кожаная портупея. Сапоги сильно изношены, но шились индивидуально из дорогой и качественной козлиной «хромовой» кожи. Лицо самое обычное, овальное, чуть продолговатое, лоб высокий, по форме прямой. Брови широкие, по форме прямые, горизонтальные. Глаза средние, сближенные, по цвету серые... Самойлов запнулся, словно натолкнувшись на препятствие... В маленьких серо-зелёных глазках начальника городской полиции Давида Михайловича Баженова всегда плескалось пренебрежительно-неприятное выражение недовольства, подозрительности и ощущение того, что весь мир в чём-то провинился перед ним. В глазах красного милиционера Фролова полыхало пламя мировой революции, маниакальная убежденность в правоте своего дела. В кроваво-красных вурдалачьих буркалах допрашивавшего Кузьму Петровича контрразведчика – пьяное упоение безграничностью своей силы и безнаказанности. У этого же – пустота. Взгляд Самойлова уперся, словно в стену. В зеркало, всё отражающее. Ни эмоций, ни прочих чувств. Ни страсти, ни волнения, ни переживаний.

– Расскажите про убийство ювелира Свиридского. Это дело вели вы?..

Канонада не умолкала и уже становилась привычной, почти каждому было понятно, что город не удержать, вопрос нескольких дней. По ночам на окраинах, а иногда и в центре вспыхивали пожары, стрельба велась, практически, непрерывно, и в такие моменты Кузьме Петровичу начинало казаться, что он выбрал не ту профессию и жизнь прожил напрасно. Ведь прочили же ему в детстве блестящую карьеру лингвиста либо историка, ученого человека, в общем... Битое стекло хрустело под подошвами, керосиновая лампа тускло светила в углу, было холодно и мерзко. Безудержно хотелось спать. Самойлов осторожно прошёл по комнате, стараясь не наступать на разбросанные в беспорядке предметы обстановки. Беззубыми разинутыми пастьями скалились вывороченными ящиками старинный английский комод, каким-то чудом избежавший участи дров, вековой антикварный шкаф. Распахнутые сундуки, ском-

канное, перемешанное тряпье, когда-то бывшее изысканными нарядами, содранные переплеты старинных книг, изуродованный золоченый сафьян. Крови почти нет, всех троих убили одинаковыми точными колющими ударами в сердце. Стiletом, штыком, траншейным ножом, кортиком, длинным шилом или просто заточкой, сделанной из четырёхгранного напильника – оружием с узким клинком. Ювелир Свиридский сидит, далеко запрокинув голову назад, в глазах – безмерное удивление, будто случилось для него что-то неожиданное, из ряда вон выходящее, хотя так оно и есть, что может быть неожиданнее и трагичнее смерти? Женщина средних лет, видимо жена, лежит рядом на полу. Лицо обезображено мукой и ужасом, у окна – труп молодой девушки, почти девчонки. Ювелира убили первым, понял Самойлов, ударили неожиданно, он и испугаться, поди, не успел, удивился разве что внезапно пронзившей сердце боли, так и умер, не поняв ничего. Жenu его – второй, вот она-то как раз успела испугаться, всё произошло на глазах, – но и только. А вот девчонка пыталась бежать. В последнем отчаянном порыве, безумной жажде метнулась к окну, но убийца догнал и ударил в сердце. Заточкой или другим колющим оружием. Кто? Зачем? Почему? С какой целью? Извечные сыскные вопросы, Самойлов устало вздохнул, кивнул приветственно агенту третьего разряда Богатырёву, парнишке лет семнадцати, неделю назад принятому на службу в угрозыск и двум красногвардейцам, вообще непонятно зачем здесь присутствующим. По-видимому, сегодня эта тройка олицетворяла собой беспощадную борьбу с преступностью, на самом же деле была ненужным балластом, совершенно бесполезным в данной ситуации. Лишь старик фельдшер, осматривающий трупы, мог принести реальную пользу.

– Приветствую, Елизар Гаврилович! – приподнял форменную фуражку Самойлов. – Очень рад Вас видеть!

– Что толку! – посетовал фельдшер. – Душегубов сегодня не поймаем, а завтра город сдадут, и останутся наши труды не востребованными.

Несмотря на бесспорную правду этих слов, говорить такого при красногвардейцах не следовало, фельдшер и сам это понял и резко замолчал.

– Фёдор Кондратьевич, – обратился Самойлов к Богатырёву, стараясь сгладить неловкость. – Пройдитесь с товарищам по соседям, может, кто слышал чего, поспрошайте.

Не смотря ни на что, в мужестве Фёдору Кондратьевичу Богатырёву отказать нельзя, подметил Самойлов. Или в юношеском максимализме. Заменить гимназическую кокарду на околыше фуражки красной звёздочкой... И это накануне сдачи города...

Самойлов дождался ухода Богатырёва и красногвардейцев, обратился к фельдшеру:

– Чем порадуете, Елизар Гаврилович?

– Да чем радовать, тут только огорчать впору. Сами все видите, удар поставлен, били наверняка, убивец мастер своего дела. Клинок узкий, четырёхгранный, направление удара снизу вверх, во всех трёх случаях смерть наступила мгновенно.

– Когда это произошло?

– По степени выраженности трупного окоченения в различных группах мышц можно ориентировочно сказать: часов пять-шесть назад, Кузьма Петрович.

– Продолжайте, пожалуйста! – Самойлов больше не смотрел на фельдшера, не смотрел на детали обстановки, не смотрел на убитых, он задумчиво поднял голову вверх, прикрыл глаза и, казалось, задремал, лишь слегка раскачиваясь, как ванька-встанька в самом конце затухания амплитуды. Фельдшер понимающе покивал.

– Тела чистые, ни побоев, ни ожогов, ни других прижизненных повреждений. Я знавал покойного Осю Свиридского, человек был большого ума, выжига ещё тот, да и мастер изрядный. Но отнюдь не Геркулес и не стоик.

Самойлов не отвечал. Сейчас этого и не требовалось, фельдшер просто озвучивал его собственные мысли, сомнения, несостыковки в картине происходящего и, что хуже всего, нехорошие подозрения.

- А девочка весьма прелестна! Гм, была. В самом соку-с!
- Что сие значит?
- Да то и значит, будь я душегубом, обязательно посласлолюбствал бы, да-с!
- Может, времени не хватило?
- Да бросьте, Кузьма Петрович! Сами ж всё видите!

Он был прав и знал, что прав! Учинённый в комнате разгром был декорацией, постановкой. Проще было связать Свиридского и его близких, побоями и пытками вынудить указать расположение ценностей. Или, например, насиловать дочь на глазах родителей. Или... Да мало ли способов развязать язык пожилому человеку. Убивать сразу хорошо поставленным ударом – нерационально. И обыск делали не те люди, что привычны к грабежу. У тех на подсознательном уровне инстинкт опасности развит, как бы не хорохорились, а все равно хоть сколько-нибудь опасались быть пойманными. Другое дело, человек, никуда не торопящийся, привыкший совершать обыск без всякой спешки, обстоятельно, уверенный в своем праве.

Северианов кивнул:

– И вы решили, что это был кто-то из ЧК? Фролову так и доложили, или оставили свои измышления при себе?

– Увиливать не привык, господин штабс-капитан.

– И?

– Дело передали в ЧК, дальнейшее мне неизвестно, в город вошли ваши.

– Устройте мне встречу с Фроловым, – Северианов резко выбросил руку вперёд, раскрытой ладонью перпендикулярно полу, отгораживаясь от обязательных возражений Кузьмы Петровича. – Не надо ничего говорить, выражать несогласие, перечить, протестовать, доказывать. Я вполне Вам доверяю и готов поверить, что вы не знаете, где скрывается Фролов. Но Вы можете знать человека, который знает другого человека, который, в свою очередь, может знать третьего человека, который совершенно, разумеется, случайно ведаёт место, куда может прийти Фролов. Такое ведь может быть? Так пусть уважаемому Панкрату Ильичу передадут, что его разыскивает штабс-капитан Северианов из контрразведки. Что штабс-капитан Северианов желает встречи с ним на его условиях, могу прийти на встречу без оружия и в полном одиночестве. И что штабс-капитана Северианова интересует не он, Фролов, а убийцы семьи ювелира Свиридского.

Кузьма Петрович иронически усмехнулся. Усмешка получилась злая и несколько обиженная, севериановский вопрос, видимо, задел старого сыщика за живое, ибо Северианов невольно позволил себе вопиющую бестактность: усомнился в мастерстве и опытности Кузьмы Петровича Самойлова.

– Вы полагает, Фролов знает о деле Свиридского больше меня?

– Ни в коей мере, Кузьма Петрович! Просто с чекистами по этому делу общался Фролов, а не вы, только и всего. Вам не удалось найти преступников, возможно, это смогу сделать я.

– Допустим, гипотетически, что о Вашем предложении узнает Фролов. С чего Вы взяли, что он согласится оказать Вам помощь? Если в деле замешены чекисты, то Фролову они, так сказать, товарищи по классу, по общему делу.

– Я не совсем понимаю Вас, Кузьма Петрович. Мерзавец и убийца остаётся мерзавцем и убийцей, товарищ он по классу или нет. Если верить Вашему описанию, Фролов человек честный и весьма порядочный, ненавидевший преступников и беспощадно с ними борющийся. Неужели он сможет отказаться от мысли покарать убийцу ювелира, мирного пожилого человека, его жены и их дочери, почти девочки. Тогда Вы неправильно описали Фролова, и я заблуждаюсь. Поправьте меня, если я не прав.

Самойлов лишь головой покачал.

– Убийство может быть политическим, господин штабс-капитан, и совершили его чекисты. А Фролов прежде всего большевик, а уж только затем борец с преступниками. Одно дело,

помочь Вам в розыске убийцы, и совсем другое, выдать кого-либо из чекистов контрразведке противника.

– Гадать не будем. В любом случае, пусть Фролов всё-таки встретится со мной, и сам мне приведёт свои доводы. Засим позвольте откланяться. Не прощаюсь, поскольку уверен в нашей скорой встрече вновь. На днях загляну к Вам, уж не обессудьте. А если будут какие-либо новости – дайте условный знак. Например, этот замечательный цветочек на окне передвиньте что ли из правого угла в левый.

Северианов уже выходил, когда в спину прозвучал вопрос:

– Не соблаговолите ли пояснить, господин штабс-капитан, почему уголовным преступлением вдруг заинтересовалась контрразведка?

Северианов улыбнулся: он всё-таки сумел пробудить интерес старого сыщика. Вышел на улицу, скорее, по въевшейся привычке всегда осторожничать и путать следы, чем по необходимости, прошел два квартала, спустился по улице Кабинетской и только тогда поймал скупающего лихача.

– Развлечься желаю, почтеннейший! – весело сообщил он извозчику. – Давай-ка к дамам, к самым шикарным, не каким-нибудь замухрышкам, а самым-самым! Понимаешь? Которые не для купчишек или студентиков, а для сливок общества.

– Те, которые для сливок – дороговаты, ваше благородие, – рассудительность ответил извозчик. Северианов лишь беззаботно махнул рукой.

– Один раз живём! Не сегодня-завтра в бой, а на тот свет ничего не заберёшь. Гулять, так гулять! Вези к самым дорогим, так чтобы я доволен остался, тогда и ты в накладе не будешь, не обижу!

Глава 6

Отец Василий так же соответствовал Настиному ожиданию, как соответствует морозная декабрьская ночь где-нибудь в окрестностях Новониколаевска июльскому жаркому полдню на Манежной площади Москвы. Говоря откровенно, она ожидала увидеть человека пожилого, с подобающим могучим брюшком, пристально разглядывающими всех и вся хитроватыми, в меру жадными глазами. Густые тяжёлые брови, тучный карминово-красный нос, багровеющие мясистые щёки в обрамлении длинной седой бороды. Дорогая ряса, темно-бархатная скуфья на голове, складень на серебряной цепочке. В меньшей степени она рассчитывала, что искомый персонаж будет напоминать юного, но благородного героя чеховской «Дуэли». Поэтому с неподдельным изумлением Настя разглядывала высокого молодого мужчину гренадёрской стати, с гладко зачесанными назад волнистыми волосами и великолепнейшей стильной бородой а-la Джузеппе Фортунино Франческо Верди. Умные пронзительно голубые глаза, доброе, чуть ироническое волевое лицо, широкие плечи. Стоит мысленно сменить рясу на полевую форму – красавец офицер, какими их рисует воображение юных барышень. Держался отец Василий запросто: прапорщику дружески пожал руку, Насте с улыбкой кивнул, провел обоих «расследователей» в трапезную, где раскалённый самовар уже пел басом: «Внииииз по маа-атушкеее, по Волге, по Вооооолгеее!..» Грибной суп, разваристая душистая пшённая каша с тыквой, чай с травяным сбором: мятой, мелиссой, зверобоем, душицей и морошкой, овсяные коврижки – всё это тут же напомнило Насте, что последний раз она сегодня перекусывала лишь белоносовскими бутербродами, да и то уже давненько.

Прочитав вполголоса благодарственную молитву перед едой, отец Василий жестом показал: все разговоры потом, не стоит перемежать утоление чувства голода словоблудием. После городской духоты приятная прохлада трапезной и простая, но необыкновенно вкусная пища словно влили новые силы, Настя почувствовала себя вновь бодрой и готовой к новым сыскным трудам.

– Отец Василий, – обратилась она к дьякону. – Вы арестовывались ЧК во время нахождения у власти большевиков?

Отец Василий кивнул.

– Было такое роковое событие, увы.

– Вас арестовали как духовное лицо?

– Ну что Вы, Настя! Просто меня опознали как бывшего офицера, решили, что я заговорщик и...

– И что же? Вам удалось бежать?

Отец Василий весело, задорно рассмеялся, словно горсть серебра рассыпал.

– Бежать? Нет, всё гораздо проще: поначалу свершилась трагическая случайность, после другая, уже счастливая. Хотя то, что нам кажется случайностью, на самом деле – Божий промысел. Мы пытаемся случайностям сопротивляться, противоборствовать, упряимся, супротивничаем. Это то, что называется гордыней. А суть в смирении. Смирение человека состоит в том, что он во всём полагается на милость Господа и чётко понимает, что без Него он не сможет ничего достигнуть. Нужно верить в Бога, верить в доброту, порядочность, честность. Так один мой знакомый оказался подлецом – и меня арестовали. А другой мой хороший приятель всегда был порядочным человеком – и меня выпустили. Жизнь – она как маятник часов: сначала раскачивается в одну сторону – и у нас все хорошо, но потом наступает противоход, и кажется, что все рушится, летит в бездну. А это всего-навсего – обратное движение маятника, восстановление равновесия. Верьте, ждите – и всё придет в норму!

– Если ударили по правой щеке – подставь левую?

– Совершенно наоборот! Если вы ударили кого-то когда-то по щеке, или по голове – не удивляйтесь, если вас ударят в ответ. Только, возможно, не сразу, а по прошествии времени, когда всё стёрлось из памяти, и вы удивитесь, как же так, за что? Суд и наказание над сделавшими зло предоставлено Господу: не бейте никого по щеке – и вас не ударят в ответ. Я в своей прошлой жизни слишком много бил, и бил не только по щекам. И когда за мной пришли чекисты, понял, что сотворённое мною насилие возвращается ко мне. Как тут не усмотреть Божий промысел?

Отец Василий говорил слишком спокойно, Веломанская вдруг ужаснулась:

– Но вас же могли расстрелять?

– Вы знаете, Настя, как бы то ни было, но воевал я честно, на равных с противником, безоружных не убивал, шансы всегда равны были: либо ты, либо тебя. Сейчас я пытаюсь надеяться, что подлостей не совершал, стараюсь верить в людей, в пристойность, благородство, верность и, наконец, справедливость... Зампредседателя ЧК Иван Николаевич Троянов оказался моим хорошим приятелем, бывшим однополчанином, когда-то служившим под моим началом. Он уже тогда был большевиком, вёл среди солдат агитацию, распространял листовки, звавшие бойцов повернуть оружие против зачинщиков кровопролития... В военное время это грозило ему расстрелом. И вот сейчас мы снова встретились. Он спросил только, виновен ли я? Только честно, как на духу. А потом выпустил.

– А если бы вы были виновны?

Отец Василий задумчиво огладил бороду. Пронзительно – изучающе посмотрел Насте в глаза. Вздохнул.

– Время ныне страшное, брат идёт войной на брата, бывшие фронтовые товарищи стреляют друг в друга. Или мы, или нас. Если бы я, действительно, боролся с большевиками с оружием в руках – меня бы не выпустили, а в условиях гражданской войны – расстреляли, однозначно. Без вариантов. Возможно, не случись Троянову быть зампредом местной ЧК, так бы и произошло.

– Вы хотите сказать, что среди большевиков случаются порядочные люди? – подозрительно-воинственно спросил Белоносов. В голосе высоким фальцетом звенела сталь. Отец Василий улыбнулся широко и добро, ласково тронул прапорщика за портупею.

– Жорж! – протянул он. – Вы очень хороший и благородный человек, честное слово! Вы сражаетесь за то, что вам близко и дорого: за царя, за Родину, за Веру! За учредительное собрание. За единую и неделимую Россию. А большевики – за свободу, равенство, братство. Их идея в своей сущности светила и прекрасна! Да, да, не смотрите на меня волком. Наш народ испокон нищ и бесправен, так уж повелось и, заметьте, не только в России, а повсеместно. Порядочные, кристальной честности люди есть и с той и с нашей стороны, это бесспорно. Но и там и там множество негодяев, мерзавцев, под прикрытием светлой идеи, заботящихся о собственной выгоде, собственном кармане, собственном благополучии. Не совершайте зла, будьте честны перед людьми и перед собой, Жорж, и всё образуется, придёт к совершенству.

Благостный и доброжелательный тон не смог поколебать намерений Белоносова, видя эту его упертость, отец Василий тяжело вздохнул.

– Не хотел я этого говорить, Жорж, честное благородное слово не хотел. Поклялся никому и никогда... – он замолчал, задумался, наступила томительная двухминутная пауза, и видно было, как борются в нем внутренние противоречия. – Не знаю почему, но расскажу Вам, как я к таким убеждениям пришёл. Наливайте ещё чаю, история трудная и совершенно неправдоподобная, но, возможно, Вы сможете меня понять. Так вот, случилось это осенью шестнадцатого года, на Юго-Западном фронте. Эйфория Брусиловского прорыва постепенно рассеялась, вновь наступило беспросветное окопное противостояние. Ходили, правда, слухи, что новое наступление готовится, что вот-вот погоним мы тевтонов дальше... Нашу разведгруппу тогда основательно потрепало, да что там говорить, практически уничтожило, не суще-

ствовало группы: только я да Троянов. А люди были на подбор, один к одному, каждый личность, судьба, авторитет. Командир наш, поручик Лебедев, таких ещё Михаил Юрьевич Лермонтов охарактеризовал: «слуга царю, отец солдатам», – тяжело ранен. А мы к нему призывали, Лебедев нам действительно вместо отца родного: за ним, как за каменной стеной, как у Христа за пазухой. Наш следопыт-охотник, младший унтер-офицер Власьев, превосходно владевший искусством читать следы и знающий лес, он же повар, который из горсти перловки и одному ему известных трав приготовит изысканнейшее кушанье, ранен, в госпитале на излечении. Друга его, Кузьму Порфирьева, убило, а он бывший фельдшер, медиком у нас в разведгруппе был, так сказать, нештатным. Погиб Антоша Белобородов, любимец наш, силач отменный, огромный добрейший детина, человек-гора, чудо-богатырь с медвежьим захватом. Двое нас оставалось, и тут начальство представило нам нового командира и с ним двух бойцов. И стал у нас старшим молодой и амбициозный поручик Востряков Иван Леонидович. Опыта боевого почти нет, но глаза горят, усики подкрученные топорщатся красиво, удаль молодецкая ищет размаху, тесно ей внутри поручика. И бойцы ему под стать: недавно призванные, только-только на фронт прибыли, необстрелянные, но мускулами поигрывают, любого неприятеля шапками закидают. Так вот, передает Востряков нам приказ: человека с той стороны в плен взять, чтобы он всё о передовых позициях неприятеля в штабе рассказал. Это называется: «языка добыть», – Вы, Жорж, должны понимать, это я для Насти уточняю. Собираемся в рейд на ту сторону. И всё-то у нас идёт наперекосяк: погода, скажу я вам, просто-таки отвратительная. Не в том смысле, как вы подумали, совсем наоборот: ночи стоят ясные, ни облачка на небе – луна светит, как вселенский фонарь, ни дождя, ни грозы, ни ветра – слышно, как в соседнем селе петухи поутру кукарекают. Для разведчика – ужас, а не погода. Времени на подготовку почти не дали, да и притереться друг к другу мы не успели. Ладно, приказ есть приказ, только чувствую я: не вернуться мне, погибну. И так явственно чувствую это, что всё мне наперекосяк кажется, предвзято, может оно на самом деле и неплохо всё. Вышли в ночь на ту сторону, передовую переползли удачно – не заметил нас никто, пролопоушили германцы. Углубились мы на их территорию, там верстах в семи небольшая деревушка была, название ещё такое необыкновенное – «Ляча», в ней офицеры противника квартировали. Подползли мы к деревне с подветренной стороны, то есть ветер в лицо дует и нашего присутствия не выдаст. Место открытое, луна светит, и цикады возле уха пулемётно-пронзительно стрекочут, аж жутко делается. Лежу я, и никаких сил подняться нет. Физически почти ощущаю, что как только приподнимусь я – подстрелят. Как морок это, наваждение. Ждём. Прошла смена часовых, значит, часа два в запасе у нас есть, можно начинать работу. Немцы то ли праздновали что-то, то ли просто посиделки у них были с граммофонной музыкой и шнапсом, только в избе окна светом играют, и патефон визжит на пол-улицы резвым поросёнком: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, Ах, мой милый Августин, Всё прошло, всё!» У крыльца часовой в полудрёме, поминутно вздрагивает, голову поднимает, потом опять его сонливая нега обволакивает, в общем, не боец он, лепи голыми руками. Подползли вплотную, затаились. Опять ждём. Лежу я во дворе, за колодцем притаился, смотрю на три освещённых окна на фасаде и чувствую: всё хуже мне и хуже, никогда такого не было, чтобы лихой подпоручик Георгиевский полнейшей рохлей сделался.словно ужас сковал всё. И тут распахивается дверь – офицер немецкий на крыльцо выходит. В свете луны превосходно виден и из окон подсвечен. Обер-лейтенант во всей красе, я хорошо помню. Китель расстёгнут, шагает неровно, не то чтобы пьян, так, навеселе слегка. Сам себе стаканом дирижирует и смачно так выводит: «O, du lieber Augustin». Хорошо ему, веселье переполняет, а я смотрю на него, вижу, как он прямо на меня двигается, и вдруг осознаю, что жить мне от силы две-три минутки осталось. Ужас, что за чувство, не приведи кому испытать. И надо немца захватывать, вязать, а я как парализованный. Но все же переборол это состояние: дождался, пока подойдёт он, прыгнул сзади, ноги под колени подсёк и чуть-чуть придушил. Немец без сознания, все тихо: ни звука, ни

какого другого шелестения не раздалось, словно и не было ничего. Часовой вообще вне игры, он с винтовкой, как с барышней, в обнимку храпит, рулады выводит, что оркестр симфонический. Его и трогать не стали, а обер-лейтенанту руки за спиной связали, в рот кляп. Бойцы Востряковские его потащили, мы с Трояновым прикрываем. Отходим. И вдруг чувствую я так живо, так правдоподобно, что осталось мне на этом свете меньше минутки, мгновения какие-то. А мы уже выходим из деревеньки, крайний дом минуем. Ещё полмгновения – и ушли бы. Или наоборот, перебили бы нас, если б я смертушку свою рядом не увидел. Чувствую: вот она, смерть, в затылок дыхнула, передёрнуло меня всего. Струхнул я, словно заяц – поворачиваю голову – и вижу сзади и сбоку патруль немецкий: ефрейтор и двое рядовых. От луны свету-то немного, силуэты видны, не более, потому немцы не сразу, видно, поняли, кто перед ними, и это спасло нас. Обомлели германцы: русские явились, как чёрт из табакерки, мы тоже на долю секунды замерли, один Троянов спокойствия не потерял. Пока мы друг друга глазами ели и из ступора вываливались, он к патрулю метнулся, двумя ударами рядовых повалил, те пикнуть не смогли в нужный момент. А вот с ефрейтором промашка вышла: успел немец винтовку с плеча сдернуть и выстрелить. Не попал, понятно, ни в кого, только шуму наделал презряднейшего: из всех домов, как горох, посыпались германцы. Троянов винтовку перехватил за ствол, дёрнул на себя, потом левой рукой наотмашь в подбородок, а прикладом ноги подсек, так что ефрейторские пятки выше луны мелькнули. Шлёпнулся немец на землю, как старый немощный кот, мы пленного подхватили и – ходу! Впереди Востряков и двое солдат с «языком», мы с Трояновым замыкающие. И почти ушли уже, до леса добежали, но тут сзади частая стрельба началась. Помню только: до крайних лесных сосенок шагов пять, вдруг – резкий удар в спину – и стремительно метнулась навстречу земля, ударила по лицу. Зацепила меня пуля германская, да нехорошо так. Не зря весь день муторно было, не уберётся, должно полагать. Упал я, лежу, душа из меня вон выходит, и словно облетает нас, сверху наблюдает. Больно тяжёл оказался обер-лейтенант для наших героев, еле волокут его вдвоем. Востряков как Моська перед слоном скачет, что-то выкрикивает, один Троянов, впрочем, как и всегда, не растерялся, меня подхватил, взвалил на спину, бежим, ломимся сквозь бурелом, как сохатые, а сзади крики, пальба, топот. Пули противно так вокруг марш смерти насвистывают. Немцы быстро опомнились и организовали погоню. И понимаем: всё, не уйти нам, догонят, больно уж тяжёлые мы: пленного едва-едва тащим и меня – то ли раненого, то ли уже бездыханного. Что-то делать надо, причём срочно. И словно сверху вижу я, как Востряков с Трояновым сцепились. Поручик коршуном насаждает: всем не уйти, раненого все равно не донесём, оставить нужно, а Троянов упёрся и совсем уж что-то совершенно странное и несусветное говорит: «С задания возвращаются либо все, либо никто». Востряков наганом размахивает, что-то про боевую обстановку талдычит, мол за неподчинение офицеру – расстрел на месте, Троянов грудью в дуло револьвера упёрся и говорит: «Давай, вашбродь!» Не поверите, он никогда ни меня, ни поручика Лебедева «вашбродь» не называл, всегда уважительно, по имени-отчеству, а тут, словно по кличке собачьей обозвал. У Вострякова хватило ума... или, наоборот, характера не хватило – только не выстрелил он. Все семь вёрст, ни на секунду не останавливаясь, нёс меня на себе Троянов по лесу, словно верный конь, я не думал, что такое вообще возможно, чудо, наверное, случилось, только не догнали нас немцы. Переползли мы нейтральную полосу, свалились в свои окопы. Троянов даже не передохнул, хотя, как сам на ногах держался – непонятно – поволок меня в лазарет. Доктор только взглянул и говорит: «Зря старались, не доживёт ваш товарищ до утра». Троянов не унимается, кричит, револьвер выдернул, под нос доктору суёт: «Вынимай пулю!». Доктор спорить не стал, сказал только как-то слишком равнодушно: «От того, что Вы меня застрелите, Ваш товарищ здоровее не станет». В общем, если доктору верить, не жилец я был. Лежу бесчувственный, с жизнью расстаюсь потихоньку. Вдруг сознание словно на несколько минут вернулось: подходит ко мне сестра милосердия, сама красива до невозможности, словно светится неземной красотой. Посмотрела на меня, погладила ладонь

и говорит: «Не тужи, солдатик, поправишься ты». Даёт мне три пилюли. «Первую, – говорит, – выпей сейчас, вторую утром, а к полудню – третью». Проглотил я пилюльку, сестра из поильника запить дала и пошла дальше по лазарету между ранеными. Зажал я пилюли в кулаке и опять провалился в забытьё. Точнее, заснул. Просыпаюсь утром и чувствую: лучше мне. Намного лучше. Проглотил вторую пилюлю – и снова спать. Подходит доктор и глазам не верит: я не только не умер, а, наоборот, на поправку резко иду, так не бывает, просто чудо расчудесное. Спрашивает, как дела, как я себя чувствую, что со мной произошло? Спасибо, говорю, вашей сестре милосердия, её пилюли просто чудодейственны. Какой сестре милосердия? Описываю свою ночную гостью, доктор говорит: «Нет у нас таких сестёр. Есть моложе, есть старше, а по вашему описанию только на образ Богоматери похожа» – и на икону кивает. Чудеса просто. Кто ж мне пилюли дал? Может быть привиделось? Может быть, бред? Но я умереть должен был, всё на то указывало, а я живёхонек. Доктор недоверчиво смотрит. Ладно, не буду утомлять Вас более, только выздоровел я быстро и совершенно чудесным образом. А Троянов под Военно-полевой суд попал, за неподчинение приказу в боевой обстановке.

Отец Василий замолчал, задумчиво разглядывая Настину переносицу. Потом продолжил: – Что тогда произошло, я до сих пор не знаю, чуду я жизнью обязан или нет, но с той самой истории больше не воюю. Здесь обретаюсь, при храме. А Троянова в ЧК встретил. Вот так.

Белонос, поражённый, молчал. Смотрел в глаза отцу Василию, приоткрыв рот, слушал. Сейчас он не был грозным прапорщиком. А ещё точнее, не был ни грозным, ни прапорщиком, и вообще, военная форма топорщилась на нём чужеродным тряпьём, а большая кобура с пистолетом вовсе выглядела комично. Жорж был растерян, он не ожидал ничего похожего: рассказ отца Василия походил на романтично-военную сказку, изрядно сдобренную и приправленную чудесами. Продолжение диалога явно грозило сместиться в область идеологическую, и Настя поспешила перенаправить дискуссию.

– Отец Василий, мы к Вам совершенно по другому делу, нам Ваша помощь необходима. Вместе с Вами 18 мая ЧК арестовала одного человека, Виктора Нежданова. Что с ним сделалось дальше? Он жив? Прошу Вас, припомните, пожалуйста! – Настя достала фотографическую карточку. – Вот он.

На фоне золотой дубравы и весело текущей речки, явно рисованного задника, вполоборота стоял молодой человек, заложив руки за спину и, гордо подняв голову, направлял наполеоновский взгляд вглубь объектива фотокамеры. Кончики залихватски подкрученных усов вскинуты вверх, смоляные брови изогнуты знаком вопроса, глаза настойчиво сентиментальны, и вместе с тем, жёсткие, даже жестокие. Взгляд завораживающий, словно читающий чужие мысли, такой девичье внимание магнитом притягивает. Внизу – незатейливая подпись, что называется, просто, но со вкусом:

«Розу алую срываю.

И к ногам твоим бросаю —

Моё сердце для тебя,

Не забудь и ты меня!»

Отец Василий на карточку взглянул с интересом, слегка прищурил внимательные глаза, потом перевёл взгляд на Настю, проговорил задумчиво.

– Да, да, совершенно точно, его звали Виктор. Мы находились вместе, он что-то рассказывал ещё. Что попал в ЧК случайно, что ни в чем не виноват, но это все тогда говорили, знаете, там в помещении, куда нас собрали, стоял плотный запах ужаса, не знаю, представляете ли вы, что это такое. По-моему, его в чем-то подозревали, то ли в связи с подпольем, то ли в спекуляции, не помню, в общем.

– Что с ним? – быстрым, готовым сорваться голосом спросила Настя. – Он жив? Его не расстреляли?

– Не скажу с уверенностью в сотню процентов, но, кажется, нет. Во всяком случае, мне показалось, что я видел его спустя неделю на Казинке, заходившим в трактир Солодовникова. Знаете где это? – Жорж кивнул.

– Вы уверены, что это был он? – спросила Настя. Отец Василий задумался, внимательно рассматривая дно чашки.

– Тогда был уверен, – наконец сказал он. – Даже подойти хотел, поздороваться, расспросить о жите-бытье, но как-то не сложилось. А вот сейчас Вы заставляете меня задуматься. Слишком мало я видел его, знаете, образ перед глазами мелькнул – и полная уверенность, что это он, Виктор, – отец Василий отодвинул пустую чашку, виновато улыбнулся Насте. – Попробуйте навеститься к Антону Порфирьевичу Солодовникову в трактир, расспросите. Может быть, его кто-то запомнил, может быть, он жил поблизости, может быть, встречался с кем-либо.

– Благодарю Вас! – горячо воскликнула Настя. – Вы вселяете надежду, отец Василий, ваши слова, словно маслом по сердцу, словно ангел души коснулся лёгким дыханием!

– Отец Василий, а вам знакома такая фамилия: Ливкин? – подал голос прапорщик. – Я точно слышал её, силюсь вспомнить где – и не могу. Она также в списках ЧК присутствует.

Отец Василий даже удивился немного: – Семён Яковлевич Ливкин, человек известный. Замечательный мастер-ювелир, виртуоз своего дела.

– Он жив?

– Разумеется! На днях встречал его, раскланялись.

– А ведь верно, Жорж! – воскликнула Настя. – Господин Ливкин ведь также может знать что-либо о судьбе Виктора.

Идти в трактир было решено теперь же, не откладывая. Настя поначалу засомневалась: время к ночи, может быть, отложить визит на более приличествующее время; но великолепный Жорж воодушевленно успокоил её: наоборот, время самое подходящее, ещё не слишком поздно, публика только во вкус входит, а железо хорошо ковать, пока оно горячее, в общем, уговорил.

Глава 7

От Базарной площади начинался длинный Александровский проспект, здесь, на пересечении со Старопочтенской улицей, напротив Вознесенской церкви, помещалось торгово-промышленное заведение Андрея Никифоровича Шошина по изготовлению различных повозок и экипажей. Здесь же имелась вполне приличная гостиница с номерами-комнатами стоимостью от 70 копеек до 3 рублей в сутки, с хорошим обслуживанием и кухней. В заведении производили ремонтировку действующих экипажей и восстановление старых, поломанных, а также присутствовала специальная кузница дляковки лошадей. Здесь же городская дума совместно с полицией объявили место самой крупной извозчичьей биржи: «в начале Старопочтенской улицы у водонапорной башни». Товарищество «Шошины» предлагало «Отпуск одиночек, пар, троек и четвёрок, как посуточно, так и помесечно», а также «лошадей здоровых, сильных и хорошо выезженных, пристойной масти». Более того, желая утереть нос извечному конкуренту Гавриле Афанасьевичу Сыромятникову, Шошин представлял совершенно диковинное: «учёных извозчиков», владеющих «знаниями географии Новоелизаветинска и окрестностей, управлением лошадьми, новой извозчичьей таксой, астрономией (специально для путешествий в ночное время) и хорошими манерами». Раньше в этом месте скучали десятки экипажей: легкачи – все в неуклюжих кафтанах на двух сборках сзади – «фантах», с наборным поясом, в поярковых шляпах с пряжкой и с непременно кнутом, щёгольски заткнутым за голенище сапога. Здесь стояли «лихачи» и «голубчики» с шикарными рессорными экипажами, правда, на разном ходу. В основном, с колёсами металлическими и резиновыми, то есть теми же металлическими, но обтянутыми резиной. Редкие имели и совсем уж шикарный «пневматический» ход – колёса с надувными шинами, при езде по булыжной мостовой такой экипаж мягко покачивало и шума почти не производилось. Лихачи громко обсуждали новости, подтрунивали друг над другом, втихую грелись самогоном или водкой. И хотя полиция постоянно следила, чтобы извозчики «выглядели опрятно, имели регистрационные бляхи на пролётке и армяке, с публикой обращались вежливо, не допуская насмешек и двусмысленностей, и были всегда в трезвом виде», найти трезвого человека на козлах пролётки в Новоелизаветинске не удалось бы ни знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу, ни начальнику городской полиции Давиду Михайловичу Баженову, ни даже самому Ивану Николаевичу Пронину, известному в будущем чекисту, советскому «Шерлоку Холмсу» – майору Пронину². Курить также не разрешалось, потому нюхали табак и каждый, утверждая, что его понюшка вкуснее и забористее, предлагал другим попробовать, но секретом приготовления никогда не делился. Обсуждали друг дружку ревностно и с некоторой завистью даже. Вот Фрол Гаврилыч Наперсников подковал кобылу у кузнеца Желевина, что вышло дешевле, чем у всеми почитаемого Нечипоренки, при экипажном заведении Сыромятникова, и подковы страсть как хороши. А вот Ванька Крюков продал свою старую Зорьку и в летнюю трёхдневную конную ярмарку прикупил молодого, чрезвычайно резвого орловца, по случаю чего залез в совершенно сумасшедшие долги и вынужден теперь вертеться ужом, добывая копейку. Или Степан Евграфович Михеев недавно весёлого барина из ресторана «Метрополь» подвозил, да так показался ему, что пьяненький клиент аж целковый накинул. А вот Андрюшка Парамонов, спеша подать свой фаэтон к «Метрополю», да ещё щеколдыкнув для сугреву и поднятию настроения «мерзавчик», чуть было не «смял» чиновника с женой, переходящего Инженерную улицу, на окрики публики ответил «молодецким» свистом и ускакал. Номер экипажа прохожие не рассмотрели, но сообщили городовому, тот расспросил извозчиков, а те ответили, «что его

² Майор Иван Николаевич Пронин – персонаж ряда произведений писателя Льва Овалова, собирательный образ советского милиционера-чекиста.

не знают». В общем, повезло Андрюшке Парамонову, а вот другим не очень: Николай Силыч Восторин за плохое содержание экипажа был оштрафован, мало того, у него было отобрано разрешение на выезд. В том же году проезжавший по Старопочтенской улице автомобиль наехал по неосторожности на стоявшего на бирже извозчика Пустелёва. Испугавшаяся лошадь поломала пролётку, оглобли и изорвала упряжь.

Постепенно разъезжались лихачи по хлебным местам. К театру Василия Ильича Дерягина «Парнас»: здесь, по завершению спектакля, подобрать можно было множество изящной публики, особо не жадной, «на водку» от 10 до 25 копеек сверх таксы накидывающей. К ресторанам «Люкс», «Версаль», «Метрополь», «Плаза», «Сады Пальмиры»: здесь пассажир в подпитии и до полтинника дать мог. К весёлому дому мадам де Лаваль, к меблированным комнатам Коробкова «Гранд-отель», к Царицынскому железнодорожному вокзалу, к пассажирской пристани реки Вори.

Отдельной дешёвой мразью вдоль улиц фланировали «ваньки», «молодцы», «погонялки», «гужееды» – неказистая деревенская сволочь в замусоленных одеждах, подавшаяся в город на заработки, на ледащих лошадёнках да никудышных пролётках. Экономя на всём, эта деревенщина норовила увести из под носа жирного клиента и сбивала цену. На биржу они могли попасть лишь «позолотив ручку» городовому, останавливаться посредине улицы им запрещалось. Кое-как перебивались они, еле сводили концы с концами, находя отдохновение в пивных и трактирных заведениях «с дворами» – местом, где стояли деревянные колоды, возле которых отдыхали и ели лошади. Сами извозчики блаженствовали в «низке»: особом, отведенном для них зале. Здесь они пили жидкий чай и закусывали, покупая со стойки, калачи, сайки, весовой хлеб, баранки, дешёвую колбасу, щековину – варёное мясо с воловьей головы, студень или холодный навар с ног, печёнку, сердце или рубец, солёную воблу, севрюжку голову, капусту, огурцы. В этих местах досужий горожанин с большим интересом мог послушать их разговоры, новости и жалобы на условия труда, найдя их весьма любопытными и познавательными.

Серафим Григорьевич Дорофеев, потомственный ямщик, лихач со стажем наконец-то взял пассажира, и не какого-нибудь нищего лавочника, богатство которого ЧК реквизирировало на нужды мировой революции, а офицера – этот не обидит, расплатится и даже на водку накинёт, не покусится. Во всяком случае, Серафим Григорьевич очень на это надеялся. Когда-то заработок его был выгодным и, по сравнению с другими профессиями, довольно значительным, но революция основательно подкосила его. То есть, Серафима Григорьевича она раскрепостила, освободила от эксплуатации и произвела из лакеев самодержавия во вполне сознательного пролетария. Теперь он перевозил не «язвы на теле трудового народа», а, по большей части, сам трудовой народ, что сильно сказывалось на благосостоянии, и отнюдь не в лучшую сторону. Когда «красный период» закончился, и в городе вновь возобладала какая-никакая власть, лихач Дорофеев очень надеялся на возвращение «добрых клиентов», увеличения таксы хотя бы вдвое и щедрых подачек «на водку».

Пассажир попался славный, пообещал «не обидеть» и всю дорогу с изысканным вниманием слушал бесконечные рассказы Серафима Григорьевича. И о столкновении пролетки с паровозом не переезде, недалеко от станции Серебренниковская. И о том, как извозчик Вахромеев, проезжая по вечно после каждого большого ливня затопленной улице Невельской, угодил колесом в яму и поломался. И о том, как много стало «малолеток», то есть возчиков до семнадцати годков, заменивших занятых на мировой, а позднее гражданской войнах взрослых.

– Куда скажут или покажут – туда и везут, знамо, ни улиц, ни присутственных мест не знают совсем, экипажи плохонькие, лошадёнки худые, нечищенные, где уж тут культурно пассажиров возить, без причинения неудобств. Всякая животная – она ласку любит. Вот Орлика моего овсом накорми, опять же, морковку сладкую дай, он знаете, как морковку любит,

и будет служить лошадка верой-правдой, денно и ночью, и в праздники Рождества Христова или, скажем, Святой Пасхи. Почисти его обязательно, негоже лошадушке чумазой ходить.

Пассажир согласно кивал, и Серафим Григорьевич расходился пуще:

– Раньше бывало, подашь к театру или к Метрополю, скажем, клиент всё более приличный, не замухрышистый, везешь, к примеру, на Московскую либо Губернаторскую улицу...

– А на Дроздовку? – спросил пассажир. – Или в Гусилище? Матросскую слободу?

– Да Боже меня упаси, кто ж туды поедет, особенно в тёмное время, разве что за тройную плату, да и то навряд ли, там же душегуб на душегубе и душегубом погоняет. Можно и лошадь потерять, и выручку, а то и голову сложить. Третьего дня Васька Маркелов повёз трёх лихих людей, купился на большую деньгу – так еле убёг, чуть не убили, и лошадь, и фаэтон забрали. Запил Васька горькую, и не понять, в горе ли, в радости, лошадь-то жалко, но зато сам живой. А сегодня под вечер, в аккурат, к трактиру «Фадееча», где он «казённую» откушивал, экипаж его подкатывает, ни кучера, ни седоков – пустой. Лошадь по привычке вернулась на старое место, к хозяину. Васька глазам не верит, на радостях выкатил всем угощение: возрадуйтесь справедливости!

– А к властям он не обращался? В контрразведку, например?

– Да боже упаси, ваше благородие, кому до него дело, до Васьки Маркелова, людей вон на улицах стреляют, режут, а тут всего лишь лошадь...

– Но за разрешением на извоз вы обращаетесь? За номером?

Серафим Григорьевич вытянул из кармана табакерку, сунул в правую ноздрю понюшку, ревно втянул воздух. Махорка, перетёртая в пыль с сосновой золой, перцем и розовым маслом, казалось, шибанула прямо в мозг, слёзы брызнули водопадом, и Серафим Григорьевич блаженно чихнул.

– Как же без этого. А случись что – кого первым опрашивают? Нашего брата, извозчика: что видел, что слышал, кто к кому, у кого, зачем, почему? А без этого номерок не получишь, и разрешение отберут...

– И кто же экипаж у вашего приятеля забрал?

– Да какой он мне приятель, Васька? А забрали известно кто – лихие люди, – Серафим Григорьевич вновь улыбнулся, сунул понюшку теперь в левую ноздрю и опять чихнул мучительно-сладко.

– И-их, хорош табачок! До самых-самых корней волос продирает!

– А что за лихие люди? – проявил навязчивое любопытство пассажир. – Знаешь, нет, любезнейший?

– Думаю, топчинские. Петра Кузьмича Топчина людишки.

– Кто таков?

– Ну, за руку я с ним не здоровкался, слышал только: где-то в Гусилище обретаются, целый дом занимают. Как стемнеет – на свой разбойный промысел поспешают. А то и днём. Не боятся никого.

– Так уж и никого? – сделал удивленное лицо пассажир. – Я слышал, их сильно постреляли при красных. И сейчас контрразведка ловит.

Пассажир был явным несмышлёнышем, идеалистом, словно только что спустился на землю.

– Всех не переловишь, вашбродь, не перестреляешь. Во всякие времена лихие люди были. Свято место пусто не бывает, одних подстрелят – на их место другие придут. На Дроздовке, сколько помню себя, всегда кого-то ловили. Поймают – и в каторгу, а он через месяц опять здесь. Ходит гоголем, с околоточным надзирателем Спиридоновым Фомой Лукичом раскланивается: наше, дескать, Вам почтение, Фома Лукич, не извольте гневаться. Фома Лукич для порядка погрозит ему кулаком: гляди, мол, у меня, знаю, что в бегах, не шали! А фартовый человек ему: как можно, Фома Лукич, мы завсегда со всем уважением. Лет двадцать простоял

Фома Лукич на Дроздовке, каждого таракана там знает, не то что людишек, а при большевиках турнули его взашей и каких-то классово сознательных пролетариев назначили. У пролетариев тех ещё сопли под носами не высохли, нацепили на рукава красные повязки да с ружьишками ходят по Дроздовке, порядок блюдут, а фартовые над ними похохатывают, животики надрывают. Потом прикатили солдатики да матросня на автомобиле, облава, значит, да только не споймали никого, так, шелупень всякую, сурьёзные люди как водица через сито утекли.

– А что же Прокофий Диомидович Дроздов-то сквозь сито не утёк? – спросил пассажир.

– Ну, Прокофий Диомидович лицо степенное, официальное, не по чину ему от сыскных бегать, несолидно.

– А в тюрьме сидеть солидно?

Серафим Григорьевич лишь снова усмехнулся.

– Ну, положим, посидел-то он всего ничего, это только веса прибавило, обломали зубки об Прокофия Диомидовича Дроздова товарищи красные милиционеры, сами разбежались кто куда. Сейчас, поговаривают, собираются Прокофия Диомидовича в городскую думу избрать.

– И получится?

– Почему ж не получится, Прокофий Диомидович нынче пострадавший от красных, герой, можно сказать. Могли ведь – «руководствуясь революционным сознанием и совестью»... Расстрелять, в смысле. Но, видать, никакая лихоманка его не берёт.

– Ужасы какие рассказываешь, любезный, – поёжился пассажир. – Страсти просто. Расскажи-ка лучше чего приятное. Про весёлый дом мадам де Лаваль, к примеру. Стоящее заведение, есть ли смысл посетить? Стоит ли овчинка выделки?

Серафим Григорьевич лишь глаза мечтательно закатил.

– Бывать не доводилось, не по чину мне сие заведение. Только для почтеннейшей публики, купчишке или, скажем, студенту там делать нечего, туда господа после театров да ресторанов заезжают вечером скоротать, сколько раз возить приходилось. Обслуживание по наивысшему разряду, останетесь довольны.

Пассажир кивнул.

– Спасибо, любезный, рекомендуешь, значит?

– Ежели деньги есть – почему бы и не развлечься, только дороговато будет, ваша милость. При большом желании можно и подешевле найти, и не хуже. Вот, рядышком Дуська Трофимова живёт, отдельная квартира, к ней часто кавалеры заходят, а берёт не в пример меньше.

Однако вопреки ожиданиям Серафима Григорьевича, пассажир не заинтересовался услугами мадемуазель Трофимовой, и разговор вновь вернулся к весёлому дому мадам де Лаваль.

– А при красных как с этим делом обстояло? Говорят, весёлые дома позакрывали?

– Точно так-с, многих прикрыли. Полуподпольно мадам де Лаваль существовали, то есть, как бы нет ничего, и в то же время, кому надо всегда найдет уют и ласку в весёлом доме. До этого дела все охочи. Как говорится, и вошь, и гнида, и даже бабка Степанида. Чекисты захаживали, бывало...

– Сам видел, или люди сказывали? – заинтересовался пассажир. Серафим Григорьевич плечами пожал.

– Сам, знамо дело, не видывал. Однако шила в мешке не утаишь: любили товарищи у мадам де Ловаль бывать. Сам товарищ Башилин захаживали мясца двуногого отведать. С превеликим удовольствием. У мадам-то барышни, поди, поблаговидней пролетарок да коммунарок.

– А что за человек товарищ Башилин?

– Наш, местный, Новоелизоветинский, с завода. При Советах в большие чекистские начальники вышел, заведовал борьбой со всякой контрреволюцией.

Серафим Герасимович рассуждал степенно, с привычной ленцой, на любопытствующего клиента не смотрел вовсе.

– Лично знакомы были? – поинтересовался дотошный пассажир.

– Никак нет, ваша милость, врать не буду, видел пару раз, а так, чтобы лично поручаться – не доводилось.

– Ну и что скажешь, любезнейший, о большом начальнике Башилине?

– Большой начальник и должен быть большим начальником: степенным да сурьёзным, с брюшком обязательно, с достоинством, иначе уважения не сыщешь. А Башилин – молодой ещё, молоко на губах не просохло, весельчак-прибаутчик, высокий, худой, усы гусарские, красавец, в общем, никак на степенного человека не похож. Одно слово, пролетарий. Из грязи да прямо в самые князи, а то и повыше! Только где они теперь, эти большие красные начальники, были, да все вышли.

– А ещё кого знавал из чекистов? Костромина, например, или Троянова?

– Нет, не слыхал. Башилин – наш, Новоелизаветинский, а эти, видать, пришлые, чужие.

Да и не по чину мне всю ихнюю ЧК знать.

Они подъехали, любопытный пассажир, щедро расплатившись, легко спрыгнул на землю.

Довольный Серафим Герасимович окликнул:

– Может подождать Вас, ваше благородие.

Пассажир белозубо улыбнулся:

– Не стоит, право. Езжай, Серафим Герасимович, спасибо, что довёз с ветерком. Я, возможно, до утра здесь задержусь.

Глава 8

Улица Губернаторская широкой булыжной магистралью начиналась на Елизаветинской площади, разделяла центр города на две неравные части, плавно сбегала к реке Воре и там сворачивала к Царицынскому железнодорожному вокзалу. Высокие каменные трёх-четырёхэтажные дома в целом напоминали излюбленные композиции московского ампира с колоннами, лепными карнизами, с фасадами из тесаного камня, украшенными античными скульптурными деталями – декоративными вазами, которые поддерживают фигуры львов и грифонов, барельефами и геометрическими орнаментами – всё это придавало улице изысканный аристократизм и несомненный достаток. Здание Новоелизаветинского «страхового от огня общества „Благостыня“», высокий, в четыре этажа, дом, в семнадцатом году заняла ЧК, после освобождения города от красных, здесь вольготно расположилась контрразведка, и Пётр Петрович Никольский с непомерным удовольствием въехал в кабинет бывшего председателя страхового общества, а впоследствии, кабинет главного Новоелизаветинского чекиста. Широкий, просторный апартамент строгого классического стиля, с массивным столом орехового дерева, чудесной игрой светотени на тканях тяжелых бархатных портьер, торжеством и изяществом резных напольных часов, изощренной утончённостью старинной мебели. Поразительно, но большевики как-то умудрились не превратить в хлев всё это великолепие и даже оставили в первоизданном виде картины старых мастеров и величавые шпалеры на стенах. Спускаясь между колонн по широкой парадной лестнице, Пётр Петрович Никольский блаженно шурился, предвкушая приятный вечер. Постовой солдат у входа от усердия чуть не выпрыгивал из сапог, вытягиваясь во фронт, Руссо-Балт С24—30 рычал бензином у парадного подъезда, от нетерпения словно подпрыгивая на булыжниках мостовой. Петр Петрович, как настоящий сибарит, любил всяческую приятность, усладу, веселье. Помимо вина и женщин, он обожал развлечься картами, пометать. Винт, макао, вист – столь желанные слуху русского офицера звуки. Шелест тасуемой колоды, глоток холодного шампанского, хрустящие купюры. И азарт! Кровь кипит, волнуется. Карты рубашками вверх ложатся на стол. Поручик Шерстнёв волнуется, закусил нижнюю губу. Руки не то чтобы трясутся, но подрагивают, волосы вскосмачены на темени. Никольский спокоен, как может быть спокоен только настоящий контрразведчик.

– Прошу-с, Михаил Петрович!

Поручик хватает карту.

– Ещё-с?

– Восемь!

– Увы-с, у меня девять!

Петр Петрович спокоен, лишь слегка улыбается.

– Желаете отыгаться?

– Я пуст! В долг поверите?

– С превеликим удовольствием, Михаил Петрович!

Зашелестели карты, замелькали рубашки.

– Ещё карточку?

Поручик радостно показал шестёрку и двойку, Пётр Петрович открыл восьмёрку и туза.

– Се ля ви, Михаил Петрович, такова жизнь! Не расстраивайтесь: не везёт в картах – повезёт в любви!

– Вам, Пётр Петрович везёт и в том и в этом!

– Не буду спорить, фортуна меня любит.

– Макао, – блаженно прикрыл глаза Юрий Львович Рубинштейн, профессиональный игрок, баловень судьбы, впрочем, Пётр Петрович знал наверняка, в явном мошенничестве,

либо другом каком передёргивании в картах пока не замечен, с таким сразиться настоящее удовольствие: противник более чем достойный.

– Макао, – повторил Рубинштейн, меча карты. – Любимая игра великой императрицы Екатерины Великой. Уж и мастерица была Её Императорское Величество! Знаете, Пётр Петрович, играла на бриллианты, по карату за каждую девятку. Ходят слухи, однажды проиграла знаменитейший алмаз «Dreamboat», подарок князя Потемкина-Таврического...

Пётр Петрович открыл карту, ему иронически растягивала губы в улыбке дама бубен, пустышка, «жир». Он прикупил ещё одну – король, снова «жир». Потом пришла семёрка, и Пётр Петрович остановился на этом, решив не искушать зыбкий фарт. Юрий Львович с лёгкой полуулыбкой открыл две четверки.

– Увы-с, Пётр Петрович, ныне фортуна благоволит мне, – хищно оскалился Рубинштейн. Он продолжил метать, Никольский с лёгким холодком в груди открыл трефового валета. Да что ж такое! Следующей пришла девятка пик, Пётр Петрович глубоко в подбрюшье загнал торжествующую ухмылку, Рубинштейн открыл пятёрку и двойку и горестно вздохнул.

– С Вами бесполезно сражаться, Пётр Петрович, плетью обуха не перешибёшь.

Никольский, сияя довольной улыбкой, сгрёб выигрыш, и карточная баталия продолжилась. Взбалмошная дамочка удача, фарт, пруха, везение вертелась, извивалась ужом, выпрыгивала из рук, Пётр Петрович проигрывал, отыгрывался, снова проигрывал. И все-таки он сумел в конечном счете припечатать бубновой восьмёркой рубинштейновских туза треф и шестерку червей.

– Не угодно ли в качестве услуги за доставленное удовольствие и в знак восполнения проигрыша отужинать в моей компании? Победившая сторона платит.

Они спустились вниз, в залу, Пётр Петрович, как всегда, уселся за свой любимый столик, возле стены, у сцены, где давалась изысканнейшая гастроль мадемуазель Николь из Парижа. Каким шальным случаем могло занести знаменитость французской столицы в Новоелизаветинск история умалчивала, хотя Пётр Петрович Никольский об этой проделке фортуны знал доподлинно: мадемуазель Николь, в миру Ольга Константиновна Ларионова, в Париже никогда не была, зато в Петрограде не сошлась с большевиками во взглядах на искусство, не нравилось ей петь и музицировать перед революционной матроснёй за фунт перловки и ржавую воблу, душа требовала шампанского и рябчиков, жареных в сметане с грибочками и ягодным соусом, щедрого и богатого кавалера и скорейшей возможности перебраться в Париж. То, что словарный запас французского мадемуазель Николь насчитывал не более десятка слов, решающего значения не имело, она умело имитировала бретонский акцент и заграничное поведение и пользовалась оглушительным успехом у господ офицеров и других ценителей прекрасного и утончённого. Мадемуазель Николь, томно смотря в зал полуприкрытыми глазами, медленным утиным шагом передвигалась по сцене, прижимая руки к высокой груди, и мечтательно-трогательным голосом тянула что-то заунывно-лирическое, изредка истерично вскидывая ладони вверх, и высоким драматическим сопрано обращаясь к кому-то в зале. Скрипичный квартет, поддерживаемый фортепиано, аккомпанировал вяло и неубедительно, явно не дотягивая классом до мастерства не сошедшейся во взглядах с красными вокалистки. Пётр Петрович Никольский лениво мазнул взглядом по гибкой фигуре госпожи Ларионовой, особо не задержался, кивнул подбежавшему официантишке:

– Вот что, голубчик, начнём мы с коньяку, а закончим чаем, что в середине – на твоё усмотрение, но чтобы мы остались довольны. Ступай! – и вельможным жестом отпустил халдея.

Руссо-Балт С24—30 лихо гарцевал по бульжникам, мотор простуженно ревел, отъехав два квартала, Пётр Петрович Никольский достал из кармана выигрыш, выудил из пачки ассигнаций сложенный вчетверо листок, чиркнул спичкой. В неровно-трепетном дрожании пламени буквы скакали, подпрыгивали, словно совершая некий замысловатый танец: «В город направ-

лен агент коллегии ВЧК „Хмурый“, цель задания и приметы пока не установлены». Подписи не было. Пётр Петрович спрятал бумагу в потайной карман кителя, вождельно улыбнулся и подмигнул в темноту: ага, вот и крупная рыба появилась!

Глава 9

Отдохнуть, культурно расслабиться после дел праведных, снять с себя физическое, умственное напряжение и внутреннее возбуждение мечтает каждый. В зависимости от конституции и темперамента. Так приехавший на ярмарку ухарь-купец, удалой молодец, разодетый кокетливым павлином: в длинном сюртуке, да не с двумя-тремя положенными по этикету, обиходу общей моды, пуговицами по борту, а сразу с четырьмя (знай наших!), а по вороту, отворотам и обшлагам струится змейкой тоненькая шёлковая тесьма, а рубашка демонстративно навыпуск, в брюки не заправлена, подпоясана шёлковым шнуровым поясом с кистями, так вот, нарядившийся этаким гоголем-щёголем купец направлялся напрямиком на улицу Астраханскую, в дом Коганова. Здесь располагалась приехавшая на гастроли группа актрис, уже три года подряд беспрестанно репетировавшая спектакль «Сады Амура».

Гимназист, сэкономивший на завтраках, отказав себе в удовольствии откусать свежую булочку с кондитором и кофий, скопивший на этом деле за неделю целый рубль, спешил в дом Киселёва на улице Ковровской, заведение «с претензией», к девице Наталье, «кончившей Высшие курсы с золотой медалью и изучившей основательно за границей французский язык», которая и приголубит и пожалеет и новейшую экзотическую позицию для удовлетворения страсти продемонстрирует, а ещё в порядке добровольной помощи с домашним заданием поможет, поспособствует: какие главные реки России Вы знаете? Здесь подавали водку или коньяк в заварочных чайниках, музицировали на фортепиано, а в передней находилось свирепое чучело медведя, стоявшего на задних лапах, в передних же державшего золочёный поднос для визитных карточек.

С юнкерами сложнее: они всё-таки будущие офицеры и, хоть и чешется где не положено, но для грядущей войны должны сохранить себя совершенно здоровыми и модной французской болезнью не страдать! Поэтому половые отправления юнкер обязан совершать строго в соответствии с инструкцией: «Приказом по Новоелизаветинскому кавалерийскому училищу». То есть дом терпимости не абы какой, а строго определенный, приказом обозначенный, и время посещения тоже. Не тогда, когда в соответствующем месте засвербит, а в порядке очерёдности: во вторник очередь 1-го взвода 1-го эскадрона, в четверг 1-го взвода 2-го эскадрона, в понедельник 2-ой взвод 1-го эскадрона, во вторник 2-ой взвод 2-го эскадрона... На первый – второй рассчитайся! Первым – употребить женщин до обеда, а вторым – до вечера. Далее в действие вступает профилактика. То есть в дни, указанные для посещения от трёх до пяти часов пополудни врач «Новоелизаветинского кавалерийского училища» предварительно осматривает женщин, где затем оставляет фельдшера, который обязан наблюдать: а) чтобы после осмотра врача до 7 часов вечера никто посторонний не употреблял этих женщин; б) чтобы юнкера не употребляли неосмотренных женщин или признанных нездоровыми; в) осматривать юнкеров до сношения с женщинами и отнюдь не допускать к этому больных юнкеров и г) предлагать юнкерам после совокупления немедленно омовение соответствующего органа жидкостью, составленной для этого врачом «Новоелизаветинского кавалерийского училища». Итак, юнкер, одетый по отпускну, убывает в увольнение «для половых отправлений» в строго определённый дом терпимости, где врач Училища предварительно осмотрел женщин, выделенных «для употребления», а взводный унтер-офицер доложил дежурному офицеру количество желающих войти сегодня в «Команду потребителей». Расчёт юнкера ведут сами. При этом они должны помнить, что более позорного долга, как в доме терпимости, не существует. На деле процесс похож на чистку трехлинейной винтовки Мосина: вставил шомпол в ствол – и вперед-назад, ать-два, ать-два – до полного уничтожения образовавшегося в стволе порохового нагара. Резюмировала приказ отписка явно струсившего начальника училища: «Установленные мною мероприятия должны вызвать у юнкеров не только сочувствие, но и всестороннюю поддержку, ибо они

не могут не понимать, что это устанавливается только для личной их пользы к уменьшению числа несчастных жертв заражения их половых членов на всю жизнь».

Осчастливленный получкой рабочий, не теряя времени, мчался в Рыбницкую слободку, в заведение Анисьи Филимоновны Хороповой, прозванное «Сучьей хатой»: избу из трех комнат, с украшенными срамными лубками и золотыми амурчиками стенами, соломенными матрасами и застиранными одеялами. Либо в полуподвальный этаж доходного дома Корзунова, где имелись в избытке приехавшие в город на заработки крестьянки, раскрашенные белилами, румянами и сурьмой до внешности матрёшки.

Поскольку прогрессивная общественность всегда любила униженных и оскорблённых, в проститутке видели жертву социальной несправедливости, торгующую собой, чтобы прокормить близких. Проститутки в глазах российского интеллигента были окружены ореолом страдания. О падшей женщине писали Достоевский, Чехов, Толстой, Куприн, Леонид Андреев и другие. Известен даже весьма малосимпатичный случай, когда сын всеми весьма уважаемого и почитаемого в городе коллежского асессора департамента Министерства финансов Льва Ивановича Благонравова Антон, юноша взглядов прогрессивных, слывший изрядным народовольцем, преисполненный жалостью к героине романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» Сонечке Мармеладовой, мягко говоря, скомпрометировал фамилию батюшки, женившись на проститутке Ксюше Павловой, найдя её поразительно схожей с героиней картины Ивана Крамского «Портрет неизвестной». Свой поступок Антон Львович счёл своеобразной формой хождения в народ, а Ксюшины товарки завидовали смертельной завистью, она же, как напишет полвека спустя, в 1969 году, Великий поэт:

Бывшим подругам в Сорренто

Хвасталась эта змея:

«Ловко я интеллигента

Заполучила в мужья».

А вот студент Давид Надежинский прославился тем, что, обучаясь в Новоелизаветинском художественном училище, ходил в публичный дом рисовать обнаженную натуру. Ничтоже сумняшеся, вообразил себя новоиспечённым Полем Гогеном и даже решил во многом превзойти французского оппонента. Заплатит за девушку и заставляет её позировать. Только выходило у него всё слишком уж экспрессивно. То есть, по мнению невольных натурщиц, настолько криво, что его вскоре вовсе перестали пускать.

Побывать в доме терпимости «Сюавитэ» мадам де Лаваль считалось хорошим тоном, ибо всё в нём было комильфо. То есть, по-русски говоря, как положено. И находился он на расстоянии «достаточно большом» от церкви и прочих общественных учреждений. И окна всегда зашторены, и шикарный вход с чучелом медведя в передней, с коврами, шёлковыми занавесками и люстрами, с лакеями во фраках и перчатках. И надпись на французском «J'ai perdu tout le temps que j'ai passé sans aimer» (Я потерял всё то время, которое я провёл без любви). Сюда ездили мужчины заканчивать ночь после закрытия ресторанов. Здесь же играли в карты, держались дорогие вина и всегда был большой запас красивых, свежих женщин, которые часто менялись». За один визит посетитель мог оставить здесь круглую сумму. За сутки одна женщина принимала не больше 5—6 посетителей.

Злые языки поговаривали, что и сама мадам Кэтрин де Лаваль, будто бы в девичестве Катька Ярошенко, юная, невинная барышня, когда-то подрабатывала на Нижегородской ярмарке. Её часто можно было встретить в районе Нижне-Волжской набережной пьяную, размазанную, расхристанную, напевающую:

Дайте мне купчину

Пьяного, в угрях

Старого, седого,

В рваных сапогах.

От купчины салом за версту разит,
Да бумажник тертый
«Радугой» набит
Он и обругает,
Он тебя прибьет,
Да за то заплатит,
Даром не уйдет.

Поединок можно вести различными видами оружия. Знаменитый д, Артаньян, герой сочинений Александра Дюма, предпочитал шпагу, гусар или улан – саблю, студент волен был выбрать рапиру, Пушкин стрелялся с Дантесом на гладкоствольных пистолетах, сам Северианов предпочёл бы рукопашную схватку, но с владелицей весёлого дома «Сюавитэ» они оба избрали в качестве оружия улыбки. Мадам де Лаваль улыбнулась Северианову липко и очаровательно, обнажив белоснежные зубы и высокую арбузную грудь, почти вываливающуюся из выреза тёмно-красного платья. Изящно держа в тонких пальцах миниатюрную фарфоровую чашечку, она томно поинтересовалась:

– Добрый вечер, господин офицер. Желаете отдохнуть у нас? Кого предпочитаете, брюнеток, блондинок, шатенок? Сдобненьких или, наоборот, стройных?

Северианов картинной щёлкнул каблуками, с чувством приложился к ручке женщины и улыбнулся в ответ ещё очаровательней.

– Премного наслышан о вашем великолепнейшем заведении. Досуг, знаете ли, скрасить иногда хочется, карты надоели, вино тем более. Желая, как бы выразиться поточнее, культурного общения с представительницами прекрасного пола. Зачерствел, понимаете ли, в окопах, душа страдает, праздника требует.

– Понимаю Вас, – в голосе мадам звучало непередаваемое сочувствие. – Сама жутко устала от мерзости и хамства. Вокруг сплошные неучтивость и грубиянство, интеллектуал, человек тонкой душевной устроенности – такая редкость.

– Я бы хотел пообщаться с мадемуазель Жанной, – весьма неинтеллигентно ухмыльнулся человек тонкой душевной устроенности. – Это возможно? Очень, знаете ли, интересуюсь её выдающимися культурными способностями и особым талантом.

Мадам де Лаваль опечалилась самым трагическим образом: малахитово-изумрудные глаза опустились вниз, могучая грудь заволновалась, норовя вырваться на свободу из тугого корсета.

– Увы, мон шер, мадемуазель Жанна занята. Я весьма сожалею об этом прискорбном инциденте, но вы, безусловно, можете выбрать другую, не менее достойную такого благородного кавалера девушку. Грузинскую княжну Чхеидзе, например. Весьма и весьма экзотическая дама. Или Софочку, даму в высшей степени благородную и интеллектуальную. Прекрасно музицирует на фортепиано, пишет стихи, к тому же имеет умопомрачительный бюст.

Северианов улыбнулся премило. Своеобразная дуэль с мадам де Лаваль, когда каждый оппонент пытался расплыться в улыбке любезней и обольстительней, чем противник, продолжалась.

– Премного благодарен, любезная Кэтрин, Вы же позволите так называть Вас, мне нужна именно мадемуазель Жанна.

– Всем нужна мадемуазель Жанна, – с премилой трогательностью сказала мадам де Лаваль. – Все хотят бедную Жанночку, словно других девушек не существует.

Приглушённый свет ламп, скульптура амура, изготовившего лук для стрельбы, тяжёлые бархатные портьеры создавали особый расслабляющий уют, граммофон звучал низким контральто Вари Паниной сокровенно и интимно:

Белой акации грозди душистые
Вновь аромата полны.

Вновь разливается песнь соловьиная

В тихом сиянье луны.

– Увы! – Северианов улыбнулся галантно во все тридцать два зуба. – Мадемуазель Жанна снискала славу самой привлекательной девушки из Ваших дам. Если она так сильно занята – я готов подождать, сколько потребуется. С превеликим удовольствием. А пока готов насладиться беседой с Вами, достопочтенная Кэтрин. Кофе угостите?

– Непременно! – оскалила жемчужные зубки мадам де Лаваль. – Рюмочку бенедиктина к кофе?

– Ого! – Северианов постарался улыбнуться ещё ослепительней. – Неужели настоящий бенедиктин? В последнее время меня все больше самогоном пытаются угостить. Кофе, надеюсь, не желудёвый?

– Как можно-с! – возмутилась мадам де Лаваль. – Натуральный, естественно! Суррогату не держим-с!

– Премного восхищён! – Северианов утонул в мягком, обволакивающем нежными объятиями кресле. Мгновенно накатила вязкая истома, слабость, томление. Нет, не годилось кресло для серьёзного, жёсткого разговора, допроса, испытания. А мадам де Лаваль кивнула сухонькому, бородатому, словно гном, человеку с ювелирно выложенным седым зачесом на круглой голове и огромными бульдожьими бакенбардами:

– Филипп, благоволите кофе господину офицеру.

Филипп проворно растворился в воздухе, растаял, словно призрак, чтобы через минуту материализоваться вновь с красочным подносом. Фарфоровая чашка, наполненная ароматной коричневой жидкостью, рюмка с золотистым напитком, который предпочтительно употреблять мелкими глотками с кофе либо чаем. Роскошная обстановка, красочные люстры, зеркала, портьеры, запах дорогих духов. Иной мир, иная обстановка, убранство. Северианов втянул ноздрями аромат бенедиктина, отставил рюмку, сделал маленький глоток кофе. Блаженно зажмурился, прикрыл глаза, почувствовал, как волны неги расплываются по телу, лениво потянулся.

– Хорошо у Вас здесь, Кэтрин. Просто великолепно. Так бы и остался здесь навсегда.

Он допил кофе, прищурившись, посмотрел в глаза хозяйке весёлого дома. – А расскажите, как при большевиках жилось? Сильно досталось?

– Слава Богу, всё в прошлом! Даже вспоминать нежелательно! Прижали так, что не вздохнуть.

Мадам де Лаваль лукавила: хотя в 1917-м проституцию официально запретила Советская власть, закрыв за время своего существования в Новелизаветинске 18 борделей, «Сюавитэ» фактически не пострадал. Для видимости назвавшись гостиницей, он продолжал существовать практически в первозданном виде. Начальник уголовно-розыскной милиции Фролов попытался прикрыть весёлое учреждение, но неожиданно наткнулся на жесткое противодействие ЧК. Чекисты посещали весёлый дом, почти не скрываясь, но Северианов был уверен, что двигала ими отнюдь не похоть и жажда плоских утех: все контрразведки мира успешно использовали проституцию для добывания оперативной информации и вербовок. В разные времена в постелях красавиц шёпотом открывались самые сокровенные тайны. Если раньше в объятиях жрицы любви язык распускал революционер, перевозчик нелегальной литературы, распространитель прокламаций, содержательной конспиративной квартиры или боевик-бомбист – и это мгновенно становилось известным в жандармском отделении, то при Советской власти посетивший «Сюавитэ» господин «из бывших», позволивший себе в момент страсти нечто антисоветско-террористическое, скрывающийся офицер-заговорщик или представитель контрреволюционного центра рисковали наутро оказаться в ЧК. Визиты чекистов в весёлый дом на самом деле являлись съёмом информации от мадам, либо вербовочными мероприятиями, когда голого господина вырывали из пылких объятий и предлагали жёсткую альтерна-

тиву: тут же оказаться во внутренней тюрьме новоелизаветинской ЧК или продолжать работу на старых хозяев, но уже под контролем новых.

Мадам де Лаваль очень внимательно рассматривала Северианова: посетить заведение её уровня рядовой пехотный штабс-капитан не мог себе позволить по причинам сугубо финансовым, ибо жалования его и в лучшие времена не хватило бы на ночь любви – для подобных господ существовали свои заведения, гораздо ниже рангом и контингентом предлагаемых девиц. Этот же вел себя слишком уверенно и мадам понимающе улыбнулась. На столе как бы сама собой материализовалась новенькая хрустящая банкнота, из воздуха возникла, ниоткуда. Северианов с ласковым осуждением перевёл взгляд с купюры на арбузную грудь мадам де Лаваль и укоризненно покачал головой.

– Я полагал, Кэтрин, что это я должен платить за услуги ваших девочек, а не наоборот.

– Это в знак почтения и для дальнейших дружеских отношений.

– Я также полагал, что дружеские отношения предполагают бескорыстное участие и не зависят от финансов. Уберите деньги! И ещё: я не пью, – он с лёгкой брезгливостью отодвинул рюмку бенедиктина. – Совсем не употребляю.

Теперь хозяйка веселого дома улыбалась лишь одними губами, глаза смотрели холодно, злобная ненависть плескалась в зрачках, синие ледяные молнии готовы были выплеснуться, пронзить противника, пригвоздить к мягкому креслу. Северианов в ответ улыбнулся совершенно искренне.

– Любовью, значит, не интересуетесь, – ядовито вздохнула мадам де Лаваль. – Я, между прочим, в очень хороших отношениях с Петром Петровичем Никольским. Он мог бы предупредить о Вашем визите.

– Ай-яй-яй, Екатерина Александровна! – с весёлой злостью попенял Северианов. – Две революции пережили, три смены власти, а ведете себя, как институтка. Несолидно, право слово! Очень настоятельно рекомендую Вам ответить на мои вопросы, дабы не огорчить Петра Петровича, и не омрачить Ваши отношения с господином подполковником.

– Как прикажете называть Вас, мон шер?

– Называть меня можете как Вам угодно, Екатерина Александровна, на Ваш вкус... Хотите – Иваном Ивановичем, хотите – Василием Васильевичем, а хотите – так Тимофеем Тимофеевичем. Или можете просто: господином штабс-капитаном – без разницы.

– И что интересует господина штабс-капитана? Не захаживают ли ко мне большевики? Нет, не захаживают, Бог миловал.

– Господина штабс-капитана интересуют чекисты. Кто посещал ваше заведение: Житин, Троянов, Оленецкий, Башилин, Костромин? И конкретно: как погиб Оленецкий? Только не говорите, что пал от руки героя белого дела во время операции.

– Приходили двое: Оленецкий и Башилин. Требовали сообщать, кто посещает заведение, кто и с какой целью ведёт крамольные супротив Советов разговоры, любовью интересовались. Задарма. Дескать, откажешь – вмиг заведение прикроем, желающих сотрудничать хоть пруд пруди, готовы на родных доносить, лишь бы благоволили их промыслу. А ещё брали девочек и ехали с ними в баню развлекаться. Это у них называлось «ночь добровольно-принудительной деятельности», нечто вроде бесплатного труда в пользу революции. Раз, говорят, у станка не стоите, работайте, как умеете. Башилин, тот всё больше водочку уважал, а Оленецкий морфинист был. Так во время «ночи добровольно-принудительной деятельности» переусердствовал с дозой и не проснулся. Скандал! Товарищ председателя ЧК погиб не во время операции по раскрытию контрреволюционного заговора, не от руки вражеского офицера, а от банальной передозировки морфия. Кое-как следы скрыли, Жанну запугали вусмерть. Банщика Трифона Тимофеевича в ЧК забрали, чуть жизни не лишили. Меня долго мурыжили, все нервы повымотали, жилочки повытягивали.

– Кто?

– Башилин особо старался, ему прямой резон свой позор скрыть. Дружок его, Житин, вытащил, а так – верный трибунал. И, «руководствуясь революционным сознанием и совестью»... Башилина даже в должности не понизили. Словно не было ничего, пал смертью храбрых отчаянный красный комиссар Оленецкий Григорий Фридрихович. А Башилин совсем за горло взял, шагу ступить не давал, грозился: если не так что – моментом в расход пустим, как соучастника убийства красного героя. Теперь Вы пугаете...

– Да побойтесь Бога, Екатерина Александровна, и в мыслях не держал пугать Вас. Проводите меня к мадемуазель Жанне, коли освободилась, надеюсь, она не на всю ночь ангажирована.

В отличие от остальных девушек, имевших экзотические имена Лулу, Мими и Жозефина, мадемуазель Жанна действительно была Жанной. Жанной Аркадьевной Орловой. Кукольное личико, огненно-рыжие кудри, довольно фривольная поза ленивой кошки. Говорила она тягуче-манерно, жеманно, наигранно-искусственно растягивая гласные, что придавала её облику некую глупость, столь нравившуюся мужчинам. Сейчас мадемуазель Жанна, непритворно рыдая, некрасиво размазывала по щекам слёзы напополам с пудрой и румянами. Никакого кокетства, никакой женской привлекательности, испуганная до ужаса женщина; и в этих слезах виделось совершенно отчётливо, что и не так уж юна бывшая актриса варьете, а ныне «интеллигентная проститутка», и жизнью изрядно потрепана.

– Оленецкий сам по себе ничто был, фигляр, позёр, кривляка. Как мужчина ничего не стоил, всегда чего-то стерегся, тревожился, мандражил. Из-за этого постоянно накручивал себя, свиреп иногда делался до варварства. Чрезвычайно власть любил. С пистолетом своим огромным не расставался, в постель с ним ложился и в баню с собой брал. Особая игра была у него: гладит меня нагую ствол, курок взведёт и весь аж заводится, звереет, слюной брызжет, аки зверюга лютая. Такой ужас меня пробирал при встрече с ним! А то песни крамольного содержания петь заставлял, про всякие там «вихри враждебные веют над нами» и «отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног», и сам маузером размахивал, дирижировал, значит. Вот Башилин больше «Яблочко» уважал, знаете:

Эх, яблочко,
Да постоянное,
А буржуйская власть
Окаянная!

Эх, яблочко,
Да покатилося,
А власть буржуйская
Провалилася!
Северианов улыбнулся.

– Было бы весьма удивительным, если бы они потребовали от Вас «Белой акации грозди душистые», «Вдали показались красные роты, ружья в атаку! Вперёд пулемёты!» или «Боже царя храни», согласитесь, Жанна Аркадьевна. Вдвоём всегда отдыхали?

– Как правило, да. В тот раз, когда Оленецкий с морфием перестарался, во всяком случае.
– А ему не могли помочь?
– Что?
– Его не могли убить? Оленецкого.

Удивление нелепости данного предположения было так искренне, что кукольные глазки мадемуазель Жанны распахнулись по-лягушачьи, а кокетливые ямочки на щеках выразили полнейшее несогласие.

– Да Вы что! Каким образом?

– Например, подменив шприц на другой, со смертельной дозой? Не задумывались об этом?

– Да что Вы, господин штабс-капитан! Кто бы это мог сделать?

– Да, собственно говоря, кто угодно. Вы, Башилин, банщик Трифон Тимофеевич. Кто-то ещё...

– Да как Вы могли такое предположить! – ужаснулась мадемуазель Жанна. – Я!? Зачем? Трифон Тимофеевич? Быть не может!

– Не может, или Вы не предполагаете подобного?

– Конечно, не может быть!

– Вы столь уверены? Подумайте хорошенько. Я, например, считаю, что многие желали смерти комиссару Оленецкому. И Вы в том числе, нет? Или вам доставляло удовольствие даровое обслуживание чекистов? Во имя, так сказать, мировой революции? Или вам просто приятен был Григорий Фридрихович?

– Да никогда я об ужасе таком не задумывалась. Грех на душу брать!

– Так ведь его не зарезали, не придушили удавкой, не застрелили. А чтобы просто заменить один шприц на другой не требуется ни большого мужества, ни отменной физической силы, ни умения метко стрелять. После смерти Оленецкого Вы получали ангажемент на «ночь добровольно-принудительной деятельности»? Нет? Ну, вот видите.

Мадемуазель Жанна затряслась. Северианов чувствовал: она не лжёт. Да и, положив руку на сердце, хлипковата была госпожа Орлова для подобных дел. Однако её могли использовать вслепую, обмануть, либо просто запугать. Или, наоборот, пообещать за подмену шприца манны небесной. Та же мадам де Лаваль. Как версия слабовата, но, в конечном счёте, смерть Оленецкого хозяйке весёлого дома тоже некоторым образом выгодна. Или кто-либо из офицеров-заговорщиков. Гадать можно сколь угодно долго, доказать что-либо затруднительно, несбыточно и мало исполнимо. Во всяком случае, пока.

– Расскажите, как все происходило. Подробно, ничего не опуская.

Он слушал мадемуазель Жанну, иногда задавал вопросы. Нет, ему не было интересно повествование о культурном отдыхе, банных похождениях чекистов, он искал нестыковки, неточности, зацепки. Северианов мало верил в чудеса и случайные совпадения. В смерти обоих сотрудников ЧК, если отбросить беспричинную непредвиденность, просматривалась умелая рука опытного дирижёра, постановщика таких несчастных случаев. Перед крупной операцией по ликвидации контрреволюционного подполья, в самый последний момент Новоелизаветинская ЧК оказывается обезглавленной. Председатель и его заместитель погибли, третий руководитель, Башилин, скомпрометирован. Ни стрельбы, ни засад – красивый, изящный этюд, с отвратительной нарко-сексуальной подоплекой, чекисты же еще и в виноватых остались.

– Сколько человек было в помещении бани?

– Всего четверо: я, Оленецкий, Башилин, Трифон Тимофеевич.

– Всё?

– Всё.

– Парильщик, цирюльник, буфетчик, мальчик, поломойка?

– Нет, говорю же Вам, Трифон Тимофеевич всех отпустил.

– Сам парил, сам веники замачивал, подносил чистое бельё, чай заваривал, убирал, и все сам? Вы в этом уверены? Может быть, не заметили просто или про кого-либо не знали?

– Да нет же, с этим строго было, Трифон Тимофеевич всю службу отсылал.

– Почему так?

– Башилин требовал. Во избежание излишней огласки. Трифону Тимофеевичу сколько раз грозили: рот на замок, Триша, молчком! Чтобы ни одна живая душа...

Конспираторы великие, подумал Северианов, рыцари плаща и кинжала, бойцы невидимого фронта. Об их культурном отдыхе не известно только слепому. Он продолжил расспросы.

Сколько помещений в бане? Сколько раз ходили в парилку? Поодиночке или все вместе? Если поодиночке, то, в каком порядке? Не помните? Так припоминайте, надо припомнить! Какими вениками парились? Что пили? Сколько? Кто сколько выпил? Вопросы сыпались один за другим, их было множество, не счесть просто, казалось, Северианова интересовало всё, даже такие подробности, на которые обычный человек не то что внимания не обратит, но и не подумает даже. Он ввинчивался вопросами в голову мадемуазель Жанны, словно закручивал шуруп в дерево. Сколько шаек было? Где Трифон Тимофеевич хранит веники? Сколько раз выходил? Какие запоры имеют двери? Сколько окон всего? Все ли были закрыты? Снимал ли Оленецкий с мизинца маленькое золотое колечко перед тем, как идти в парилку? Нет? Точно нет? А что, кстати, за колечко было? Точно золотое? Женщина перестала не только плакать, но и вообще что-либо понимать; эмоции кончились, отвечала монотонно, словно механизм. По мере ответов Северианов нашёл несколько лазеек, уязвимостей, щелей, сквозь которые можно незаметно проникнуть в баню, аккуратно, в самый разгар веселья, подменить шприц и также инкогнито удалиться. Пора было ретироваться. Обессиленная мадемуазель Жанна, казалось, даже не заметила его ухода, с мадам де Лаваль Северианов чопорно попрощался, галантно поцеловал ручку, пообещал не забывать. Мадам обворожительно улыбнулась ему и сказала, что всегда будет рада такому дорогому гостю, пусть заходит запросто, по-дружески. На этом они расстались, продолжая улыбаться.

На город мягко опустилась ночь, и Северианов решил отложить визит в баню. Пройдя вниз по улице, поймал лихача и кивнул:

– Давай к Фадеичу, любезный! Адрес известен?

Глава 10

Кровать визгливо скрипнула в последний раз, похотливо взвизгнули матрацные пружины – Пётр Петрович Никольский восторженно закатил глаза, блаженно застонал, захрипел, завыл по-волчьи, испытывая нечеловеческое наслаждение, и скатился вбок, часто и сипло дыша. Проигрывать – так миллион, любить – так королеву, на меньшее просто не стоит тратить сил! Или, за отсутствием королевы, хотя бы самую красивую и авантажную женщину в городе – мадемуазель Николь, по которой сходит с ума всё мужское поголовье Новоелизаветинска. Мадемуазель, в свою очередь, всех презирает, с брезгливым равнодушием заигрывает, глазки строит да губки пренебрежительно и капризно надувает и всё такое-прочее, а ему отказать никак не смеет! Знает, плутовка, что одного лишь сурового движения бровей подполковника Никольского достаточно, чтобы улетела она обиженной птицей обратно к большевикам, пьяную матросню развлекать, обслуживать за паёк, то есть, за тошнотворную перловку и ржавую воблу. Бр-р-р! Кошмар какой! Насчёт сурового движения бровей – разумеется, шутка, он вовсе не зверь, не мерзавец какой, даже совершенно наоборот, мужчина весьма деликатный и приятный во всех отношениях. Однако же пускай старается мадемуазель Николь, в миру Ольга Константиновна Ларионова, стонет томно в нужный момент, показывая, как приятны ей ласки Петра Петровича, как млеет она в его объятиях! Помнит пусть, кто помог в Новоелизаветинске обустроиться да всяческое вспомоществование оказывал, а также помнит, что чары её женские – вещь совершенно бесполезная, для него – ничто! Поёт она, конечно, божественно, а в постели – так себе, Пётр Петрович знал и получше! Плохо старается, не за совесть, нет той изюминки, что так ценит в плотских утехах господин подполковник. Снисходительно погладив грудь лежащей рядом «французской актрисы», Пётр Петрович повернулся набок и мгновенно провалился в сладкие объятия Морфея, заснул, попросту.

Мадемуазель Николь тихо лежала рядом и беззвучно плакала. Чёрт побери, до какого дна она опустилась! Её ласк безуспешно добивались многие столичные франты, куда как весомее провинциального контрразведчика, павлина надутого, ради благосклонного взмаха ресниц к её ногам готовы были бросить всё – и что в итоге? Она лежит в постели с мужчиной, которого презирает и люто ненавидит, в тесном номере убогой гостиницы, спасибо, горячая вода имеется. Ниже падать, кажется, некуда! Ей было нестерпимо жалко себя, хотелось подняться с постели, вытащить у любовника из небрежно висящей на спинке стула кобуры револьвер и страстно разрядить весь барабан в ненавистную физиономию, а потом застрелиться самой. Получится весьма мелодраматично и красиво, словно в романе Бальзака или Дюма. Только Ольга знала совершенно точно, что ничего подобного она сотворить не в состоянии, но как же прекрасно мечтать об этом! А уж как хочется надеяться на чудо, что явится прекрасный возлюбленный, истый джентльмен, и увезёт подальше. Туда, где ужасов гражданской войны в помине нет, а, наоборот, сплошное благоденствие и радость. Где весь мир принадлежит только ей, Ольге Ларионовой, и от исключительно её желаний зависит. Слушая размеренное сопение Петра Петровича, мадемуазель Николь мысленно награждала его такими эпитетами, что не дай бог господин Никольский услышал бы – от ужаса и трагичности ситуации со стыда бы сгорел. Сволочь, думала Ольга, кобель похотливый, сатир развратный, жеребец, мерзавец пакостный, воспользовался беспомощным положением несчастной девушки – и туда же! Вспомнился столичный вельможа, граф Корсаков, последняя любовь, что ручки целовать изволили и на задних лапках перед ней, аки пёс беспородный, подпрыгивали. Вот он-то истинный красавец был, не чета этому хлюсту, возомнившему себя Наполеоном.

Ольга повернулась на правый бок, полежала ещё, безуспешно пытаясь заснуть, потом поняла, что спасительной дрёмы не дожидается, безвольно вытерла остатки слёз и поднялась с постели. Неслышно прошла в ванную, долго пыталась смыть с себя весь сегодняшний стыд

и позорные следы объятий подполковника, потом, набросив на плечи лёгкий махровый халат, прошла к столу, вытащила из нагрудного кармана кителя контрразведчика золотой портсигар с монограммой, закурила и вновь расплакалась. Давясь дымом, прорыдала изрядное количество минут, потом смяла папиросу и ловкими бесшумными движениями обыскала карманы подполковничьей формы, испытывая при этом мстительное удовольствие и злобное удовлетворение. Вот тебе, сволочь! В потайном кармане нашла записку, извещавшую о прибытии «Хмурого» и с кровожадной язвительностью ухмыльнулась, глядя на безмятежно выводящего рулады Петра Петровича. Спи, дорогой, спи! Дрыхни! Не всё коту масленица, так и мировую революцию проспичь, пёс смердячий!

Потом неслышным ужом скользнула в постель и теперь уж сразу заснула. Лицо её при этом выражало то самое блаженство и удовлетворение, которые так желал лицезреть господин Никольский.

Глава 11

Трактир-низок Фадея Фадеевича Евстратова находился хоть и на окраине, но в «литературном» месте. Парадным солдатским строем маршировали плечо к плечу улицы Писарева, Жуковского, Достоевского, Некрасова, Лермонтова, Пушкина, Карамзина, Крылова, перпендикулярно им двигались улицы Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого и, неизвестно по какой причуде примкнувшей к ним, улице Ермака. «Писательская слобода» – так между собой называли жители улиц это место, а трактир, соответственно, «Евстратов двор», а чаще «Двор Фадейча». Здесь коротали время между поездками лихачи, здесь же можно было переночевать во вполне приличных номерах. Внизу, в зале, подавали парную телятину, расстегаи, румяные пироги с рыбой, студень, жирные, наваристые щи, гороховый кисель и крепкий, густой чай, заваренный с брусничным листом, зверобоем и мятой. При желании можно было заказать и самогонки, отборного пшеничного первача: «гуся», «диковину», «мерзавца».

Несмотря на позднее ночное время, народу было предостаточно, за столами чинно пили чай, закусывали, делились новостями, а в центре зала громко храпел мужчина средних лет, руки безвольно повисли вдоль корпуса, пустая длинная бутылка, «четверть», «гусь» застыла в окружении тарелок с остатками трапезы. Посреди стола серым обелиском застыла извозчицья поярковая шляпа с высокой тульей и пряжкой. За стойкой с выражением глубокой скорби на лице скучал буфетчик, огромно-круглый, словно надутый шар. Весь он был гладкий, прилизанный, маленькие маслянистые глазки полуприкрыты, ровный пробор бледно-розовым шрамом пересекал голову аккуратно посередине. Только лицо обрюзгшее, бульдожьи брыли, прозванные неким остряками «собачьей радостью», свисали по бокам.

Северианов прошёл к стойке, внимательно посмотрел на буфетчика, словно в переносицу прицелился, потом кивнул на громко храпящего извозчика.

– Знаешь его?

– Никак нет-с, ваше благородие, – склонился в дерзком поклоне буфетчик. Северианов не стал спорить.

– Может, и не знаешь, а может, просто врёшь. Собирайся, пошли.

– Куда это? – опешил буфетчик.

– В контрразведку. Там будешь сказки рассказывать.

– Но я не могу-с. Я на службе-с.

– Пусть тебя больше это не беспокоит, любезный. Мы здесь большевистских шпионов разыскиваем, а ты с нами в кошки-мышки играть вздумал. В контрразведке тебе скоро мозги вправят. Если, конечно, останется, что вправлять. Сдаётся мне, ты красный агент.

– Да вы что, ваше благородие, какой еще красный агент? – жалобно заскулил, заблажил буфетчик. – И отлучаться я не могу без нужды – хозяин прибьет.

– Не беспокойся об этом, дважды не умирают, так что хозяину твоему, боюсь, прибавить уже некого будет. Ну! – повысил голос Северианов. – Живо!

На буфетчика было жалко смотреть, вся спесь слетела моментально, и сейчас он больше напоминал нашкодившего кота. Забормотал, заюлил, словно замаякал:

– Не надо, ваше благородие, всё скажу, ничего не утаю!

– Кто это? – повторил вопрос Северианов. – Знаешь его? Быстро!

– Это Васька Маркелов, лихач, с вечера зенки заливает, назюзюкался до скотского вида, боров холощёный!

– Остальные кто?

– Такие же. Извозчики, дружки его.

– Пошли, экипаж покажешь.

Северианов развернулся, не обращая больше внимания на буфетчика, подошёл к столу, рывком за шиворот поднял храпящего лихача, натянул извозчичью шляпу Маркелову на голову и потащил к выходу. Буфетчик мелкой рысью семенил следом.

– Вот его фаэтон, – указал на крайний у колоды экипаж на резиновом ходу. Северианов легко, словно тряпичную игрушку, зашвырнул извозчика внутрь и залез на козлы. Тронул. Проехав квартал, выбрал место потемнее, остановил экипаж. Васька Маркелов, огромный бородатый детина с антрацитово-пегой бородёнкой, трубно храпел, источая такой винный запах, что, казалось, можно опьянеть от одного лишь дыхания. Сознание его сейчас витало где-то в эмпиреях и возвращаться в брненное тело не собиралось. Во всяком случае, сейчас, немедленно. Лучше всего, конечно, было дать ему проспать, но Северианов не намеревался терять время. Сильными движениями пальцев он начал массировать мочки ушей извозчика, чередуя с хлесткими ударами ладонями по щекам, добиваясь притока крови к голове. Васька Маркелов замычал, закрутил головой, пытаясь освободиться от назойливой опеки. Северианов беспощадно продолжал экзекуцию, извозчик открыл глаза, посмотрел перед собой мутным тяжёлым взглядом. Тогда Северианов стянул его с пролетки, дотащил до бочки с дождевой водой и несколько раз окунул головой в нагрешую за день жижу, снова хлестнул по щекам. Васька Маркелов наконец-то обрёл возможность говорить и тут же зарычал трубным басом:

– Кто-о-о! Изверги! Убью-у-у! – голова моталась из стороны в сторону, мокрая борода слиплась, и тяжелые струйки воды брызгали, разлетались в разные стороны. Северианов ещё раз окунул его голову в бочку, прервав звериноподобный рык. Держа детину на весу правой рукой, левой извлек из кармана «мерзавца» – самую малую водочную посуду в двухсотую долю ведра, потряс перед лицом извозчика, вновь спрятал. Глаза Васьки Маркелова приобрели некую осмысленность, и Северианов, дотащив его до экипажа, начал быстро расспрашивать.

– Звать как?

– И-и-и, – завыл Васька, Северианов вlepил очередную пощёчину.

– Отвечай! Живо!

Подпоручик Дроздовский, лучший мастер допросов контрразведки, конечно, врезал бы апперкотом с правой в пузо, и это, возможно, ускорило бы процесс приведения в чувство, но Северианов так не поступал никогда. Ему было искренне жаль несчастного извозчика, лишившегося и чудом вернувшего лошадь и экипаж, и Северианов вместо очередной пощёчины протянул «мерзавца».

– На, хлебни малость, полегчает.

Маркелов мгновенно выхватил шкалик, одним глотком осушил половину, дальше Северианов не дал, отобрал бутылку.

– Позже! Зовут тебя как, спрашиваю?

– Маркеловы мы, – икнув, простонал извозчик. – Василий Никанорович.

– Что ж ты так набрался, Василий Никанорович, – попенял Северианов. – С горя или в радость?

– Лошадушка моя! – запричитал, затряс мокрой гривой Маркелов. – «Красотка», кормилица! Отняли, ироды, поганцы! Думал, всё, конец тебе, Вася, а она, моя голубушка, сама вернулась, ласточка ненаглядная! – Он попробовал потянуться к лошади и чуть не сверзился на землю.

– Кто, когда? – быстро спрашивал Северианов. Несмотря на темноту и последствия обильного возлияния, Маркелов всё же разглядел фуражку, погоны, кобуру с наганом у спрашивающего и сразу присмирел, вырваться больше не пытался и даже говорить стал осмысленно.

– Вчерась трое подошли, страшные – жуть просто, пистолеты наставили, с пролётки скинули и укатали. Душа аж перевернулась, так струхнул, думал, жизни лишат. Попрощался уж и с лошадушкой, и с пролёткой, ну, думаю, судьбинушка, кончилась жизнь, хоть в петлю поле-

зай. Я ж двадцать годков, почитай, пассажиров вожу, такое приключилось! Остается лишь горькую пить, совсем пригорюнился я, а к вечеру «Красотка» моя с экипажем подкатывают к Фадеечу, пролётка пустая, как с неба явились. Я от счастья такого ноги чуть не протянул, выкатил на радостях угощение товарищам, дальше ничего не помню.

– Где это произошло? Показать сумеешь?

– Знамо дело.

– Тогда поехали. Управлять пролеткой сможешь?

– Мастерство не пропьёшь! – с преувеличенной удалью гаркнул Маркелов, с трудом распрямился, сделал неуверенный, заплетающийся шаг и вдруг, одним неуловимым, доведённым до автоматизма движением, ласточкой взлетел на козлы, подхватил вожжи и махнул кнутом в воздухе. – Прошу-с, ваше благородие, доставим в лучшем виде-с. Но-о-о, «Красотка», вези, родимая!!!

Произошедшая на глазах метаморфоза немало позабавила Северианова, он усмехнулся, полез в экипаж.

Ехали недолго. Булыжная мостовая скоро сменилась вязкой разъезженной глиной, пролётка загромычала, закачалась, угрожающе скрипя. Вокруг стало совсем темно и достаточно жутко. Северианов непроизвольно поёжился, хотя было довольно тепло. Извозчик же, казалось, не испытывал ни малейших неудобств.

– Здесь, ваше благородие, – остановил он пролётку. – Вот здесь они подошли.

Северианов огляделся. Узкая улочка, бревенчатые дома, хлипкие, покосившиеся заборы. Раскисшая земля, грязь, аромат прелого сена, конского навоза и исправно трудящихся самогонных аппаратов.

– Откуда?

– Вона, от того дома.

Северианов прищурился, словно на фотографическую пластину запечатлел высокий двухэтажный дом с просторным мезонином, светящийся несколькими окнами, большой сад с деревьями и кустарниками, невысокий редкий забор.

– Кто здесь проживает, знаешь?

Казалось, Маркелов спит на козлах, но ответил он сразу.

– Раньше граф Одинцов Василий Ильич проживали, только утопили они недавно. Кто теперь живёт – не знаю.

– Хорошо, – Северианов сразу поверил ему. – Поехали отсюда. Давай, правь на Лентуловскую улицу, там покажу.

Доехали быстро, Северианов тронул извозчика за плечо. – Слезай, пойдёшь со мной. Да не трясись так, Василий Никанорович, не обижуй!

На длинной рубленой скамейке сидели, привалившись друг к другу, трое налётчиков. Со стороны они могли показаться смертельно пьяными и совершенно безобидными. Северианов посетил фонариком.

– Узнаёшь?

Маркелов протрезвел мгновенно и до конца. Тяжёлый хмель, до этого переполнявший его, как взбухшая разварная каша, улетучился за секунду. Крупный нервический пот хлынул из пор, как вода с ужасным рокотом врывается в корабельную пробоину. Сложенные щепоткой пальцы правой руки метнулись ко лбу, потом к низу живота, плечам. Извозчик крестился безумно, истерично.

– Свят, свят, свят!

– Они?

– Они, ваше благородие. Страх смертный, заснуть теперь не смогу – до гробовой доски сниться будут.

– Не трясись так, Василий Никанорович, они больше не опасны. Что дрожишь? – Северианов протянул ему недопитого «мерзавца». – На, успокойся.

Маркелов заглотив содержимое в полглотка, шумно выдохнул.

– Ну, полегчало?

– Благодарствую. Кто ж их так, ваше благородие?

– Тот, кому положено, – усмехнулся Северианов. – Не бойся ничего, Василий Никанорович, всё позади. Ты их прежде видел? Может быть, встречал где, или знаешь чего?

– Да боже меня упаси, ваше благородие, от таких лучше подальше держаться!

– Ладно, – кивнул Северианов. – Помогай грузить, увозим их отсюда.

Вдвоём они уложили мёртвых налётчиков на сидение пролетки, Северианов сел на козлы, рядом с возницей.

– Трогай.

Трупы они сгрузили возле заброшенного дома у крутого обрыва реки Вори. Не нужно, чтобы их смерть связывали с домом ювелира, решил Северианов.

– Всё, Василий Никанорович, спасибо, езжай куда хочешь и больше так не напивайся. А если что вновь неладное приключится – не заливай горе вином, а сразу беги в контрразведку, мы тебя защитим, – Северианов крепко пожал вялую руку извозчика.

С бандой нужно было решать, причём срочно и кардинально.

Глава 12

Улица Казинка историю имела романтическую: будто бы название свое взяла от пересохшего ныне ручья Казинка, который служил диким козам водопоем. Однако Николай Леонтьевич Белово, директор публичной библиотеки в свою очередь утверждал, что Казинка происходит от слова «казистый», что значит интересный, изящный, видный. Этому же корня, говорил он, поднимая вверх указующий перст, и старое русское слово «казинка» – видное, пригосее место; речка, текущая красиво, на виду.

Грозный прапорщик Белоносос чувствовал себя отважным разведчиком в глубоком тылу противника. Они заняли столик в полутёмном углу трактира, у стены. Жорж заказал чаю и спросил хозяина, Антона Порфирьевича Солодовникова. Антон Порфирьевич соблаговолил почтить вниманием грозного контрразведчика и его спутницу и обещал поспособствовать розыскам. Кликнул полового, велел оказать всевозможную помощь, на любые вопросы отвечать искренне и без утайки, если вдруг понадобится, он всегда с удовольствием – и ретировался. Половой внимательно, хоть и без особого интереса, рассмотрел фотографическую карточку, помотал головой: «Разве ж всех упомнишь, ваше благородие, не постоянный клиент – это уж будьте любезны, может и заходил разок, не припоминаю-с». Буфетчик пожал плечами: «Личность, вроде, знакомая, но не побожусь, кажется, видел, а может, ошибаюсь». Неожиданно помог мальчишка – посыльный, чистильщик ножей и вилок. Мальчишка по молодости, видимо, обладал уникальной зрительной памятью, потому лишь мазнув взглядом по карточке, сразу заявил: «Как же-с, видел один раз, обедали-с. Кушали и беседовали с Фомой Фомичом Нистратовым».

– Точно! – хлопнул по лбу ладоней половой. – Так и говорили бы сразу про Фому Фомича.

– Кто таков? – нахмурился Жорж.

– Фома Фомич Нистратов, раньше уважаемый человек был, офицер жандармский, потом большевики его арестовали, еле-еле отбоярился, что называется, малым испугом отделался – с уважительной дрожью произнёс половой. – Бывало, зайдёт Фома Фомич, чинно так усядется на своё любимое место и затребует расстегайчик, телятинку парную, пирог с грибами, морсу ягодного да чайку-с. Сидит, вкушает, чайком балуется, а к нему разные людишки подсаживаются и о чём-то докладывают. Фома Фомич чаёвничает, слушает степенно, потом скажет что-то, и человек исчезает, а за ним уже другой тут как тут. И ваш знакомец, видимо, из этих человечков, что у Фомы Фомича в знакомцах значились.

– Давно Вы видели Виктора, беседующего с Фомой Фомичом?

– Да ещё при красных, по весне, снег сошёл уже.

– О чём говорили? – подала голос Настя. – Когда обслуживали, могли что-либо услышать.

– Нет, – сказал половой, – они замолкали, когда я подходил. Да и не упомянул бы – давно было.

– Ладно, – милостиво кивнул Георгий Антонинович. – Как отыскать Фому Фомича знаешь?

– Он недалеко живёт, к нам обедать-ужинать изволит заглядывать.

– Проводи господ, – кивнул половой мальчишке. – Ну, живо!

Малец выскочил во двор, Настя и прапорщик направились следом. Шли недолго: Фома Фомич Нистратов обитал здесь же, на Казинке, и, по счастью, оказался дома. Не сказать, чтобы очень обрадовался визиту контрразведки, но и откровенной враждебности не выказал.

Маленький смешной старичок-боровичок, с круглой головой, на которую сверху пришлёпнули розовый блин лысины, очерченный по краям седыми волосками, с густыми бесцветными бровями и комичным носом-бульбочкой, часто-часто моргал узкими хитрыми, как

у китайца, глазами. Гусарские усы, когда-то лихо закрученные вверх, побелели, и кончики опустились вниз, придавая их обладателю сходство с моржом. Старичок-паучок, сидящий в центре паутины и дергающий за ниточки. Фома Фомич двигался по комнате тяжёлой обманчиво-шаркающей походкой немощного человека. Был он сторбленный, несерьёзный, на жандармского офицера походил так же, как схожи между собой деревянный детский пугач и безотказный наган-самовзвод: вроде бы оба короткоствольное оружие ближнего боя, но из первого никак не получится вести огонь на поражение, можно только кричать «пух-пух», изображая выстрел, тогда как второй в умелых руках является смертельно опасным. Озабоченно кряхтя, старичок присел в потёртое, покрытое одеялом кресло и недовольно засопел:

– Кто? Виктор Нежданов? Не доводилось слышать.

– В трактире у Солодовникова беседовали, – напомнил Жорж, а Настя протянула фото.

Фома Фомич взял подрагивающей рукой карточку, далеко отставил от глаз, подслеповато прищурился, чуть повернув голову вправо, беззвучно зашевелил губами.

– Так – так – так, – прокаркал простуженным вороном Нистратов. – Как же-с, как же-с, припоминаю-с. Только не ведал, что он Нежданов. Так, случайный знакомец, встретились, поговорили – и разбежались. А Вы к нему по какому делу будете?

– Я его невеста, – сказала Настя. – Он здесь, в городе должен быть, разыскиваю.

– Весьма романтично, – закивал, широко растягивая розовые губы в ухмылке, Фома Фомич. Повернул карточку, прочитал надпись, – Весьма-весьма! Поэт, честное благородное слово – Михаил Юрьевич Лермонтов, не меньше. Хотя, что я говорю, старина Лермонтов от зависти залился бы горячими крокодильими слезами, узрев сию патетику: «Розу алую срываю, и к ногам твоим бросаю»! Очень-очень поэтично! – он повернулся к Жоржу. – А Вы-с, кто будете? Случайно не дружок-приятель сего пиита?

– Контрразведка! – отрезал Георгий Антонинович. – Так что по данному делу сообщить можете?

Насте показалось, что суровая мышь грозит искушённому, заматеревшему коту, ибо старичок грозного белоносовского тона нисколько не испугался, даже, наоборот, снисходительно захихикал.

– Я полагал, контрразведка большевистских агентов разыскивает, а не ветреных женихов прекрасных девиц. Или я ошибаюсь, господин прапорщик?

– Контрразведка много чем занимается! – добавил металла в голос Белоносов. – Извольте отвечать! – мышонок-прапорщик напал, хватал тонкой лапой кота за усы – старичок смешно зашевелил густыми пепельного цвета бровями.

– Браво, молодой человек, орлом просто! Теперь вижу – вы настоящий зубр контрразведывательных операций, даже трепет берёт. Ну что ж, из глубочайшего уважения к Вашей службе, отвечу: человека этого, что на карточке фотографической запечатлён, я видел впервые и не совсем уразумел, чего он от меня добивался, право слово. Подсел он ко мне, когда я трапезничал, и стал про какие-то стародавние дела расспрашивать. Про родственника моего дальнего, Петра Еремеева, я его больше года не видел, а этот утверждал, что Пётр где-то в городе. Зимой, как Советы власть взяли, должен был Пётр приехать, да что-то ни слуху ни духу. Послал я Виктора вашего к Митьке Захарову, они с Петром старые приятели, может он чего расскажет, и более не видел.

– Где Захарова найти? – продолжил расспросы прапорщик.

– На соседней улице, третий дом от церкви, там живёт. Явился с войны весь пораненный, влачит, так сказать, незавидное существование, а прежде справный мужчина был.

– Что ещё спрашивал у Вас Виктор?

– Должен был, якобы, Петр не один явиться, а у Виктора к тому человеку дело, какое, правда, не сказывал. Вот и всё, больше ничем помочь при всем желании не способен, уж извините старика. – Он тяжело и протяжно вздохнул, возвращая Насте фотографическую кар-

точку. – Желаю Вам, барышня, отыскать вашего жениха в скором времени и добром здравии. Совет, как говорится, да любовь.

Когда они уже уходили, старик, словно нехотя, произнёс в спину.

– Я бы Вам, милая, настоятельно советовал побеседовать с Оленькой Ремберг. Самая интереснейшая дама в городском театре.

– Она что-то знает? – обернулась Настя.

– Понятия не имею, – скривился Фома Фомич. – Просто такого красавчика, как ваш Виктор, наша хищница Оленька ни за что не пропустит. Не должна была пропустить.

Время было совсем позднее, но Жорж вновь проявил настойчивость: расставаться с Настей ужасно не хотелось. Захаров живёт рядом, пройти-то всего ничего, а назавтра целое дело будет, да и сейчас-то он точно дома, а днём его ищи-свищи – и они всё-таки отправились к инвалиду германской войны, возможно, совершив тем самым непоправимую оплошность.

Глава 13

Капитан Малинин устало и равнодушно рассматривал стоявших напротив врагов. Противника. Пятерых местных оборванцев, понуро опустивших вниз глаза. Личности колоритные, признал он, чудо-богатыри, красные герои! В лаптях! Вида самого грозного, куда уж!

– Кто такие? – спросил Малинин, брезгливо переводя взгляд с пленных на пышущего карминовым румянцем казака Загоруйко и обратно.

– Краснопузые, ваше благородие! – молодежато отрапортовал Загоруйко. – Комбедовцы. Повесить на ближайшей осине – и дело с концом!

Усталость имеет мерзкое свойство накапливаться. Понемногу, постепенно, исподволь. Сначала её вовсе не чувствуешь, потом ощущается лишь лёгкое недомогание, едва-едва уловимый дискомфорт, и кажется, что всё это мелочь, пустяк, зряшное волнение. Но она не переставая давит на плечи, утяжеляет обувь, делает равнодушным, безынициативным, появляется апатия, непротивление трудностям, хочется закрыть глаза и отключиться от действующей реальности, заснуть прямо там, где стоишь. Малинин на ногах держался только из злости. Из упрямства, из принципа, из уважения к себе самому и своим бойцам. Мысли отсутствовали, ноги налились свинцом, словно к сапогам привязали чугунные ядра, глаза протестовали против света, требовали темноты, отдыха, сна. Пятые сутки они, имеющие грозное название разведывательно-диверсионная группа особого назначения, почти не спали, питались на ходу от случая к случаю и все время шли, шли, шли. Путали следы, возвращались назад, рискуя утонуть, бродили по болотам, снова шли вперед и снова возвращались. Налет на склад боеприпасов провели удачно: часовых сняли легко, бесшумно и бескровно, просто вырубил полу-сонных красных солдатиков, связали, установили заряд динамита и отошли. Рвануло знатно, зарево полночи красило небо в багровые цвета, только большевикам это сильно не понравилось, и они порешили во что бы то ни стало наглую группу капитана Малинина отыскать и уничтожить. Не так и далеко до своих было: не более тридцати вёрст, один хороший марш-бросок, однако у красных кто-то опытный оказался, явно из своих, бывших: не теряя времени, мгновенно пресёк панику и организовал преследование. В общем, отрезали их, загнали глубоко в лес и обложили поисковыми группами. По дорогам конные разъезды стерегут, а в лесу пешие отряды на пятки наступают. Будто бы других дел у противника нет. Прорваться не вышло, слишком уж сильный численный перевес был у красных, а Малинин, как скопидом, людей берег истово, за просто так терять не хотел ни одного, уводил от столкновения, огрызаясь редкими выстрелами. И хотя помня, как Отче наш, что патронов много не бывает, так что с собой боеприпасов набрали под завязку, сэкономил каждый, словно предчувствуя нехорошее. Попробовать укрыться и переждать погоню не пытались: у преследователей появились собаки, их беспокоящий лай заставил отказаться от мысли замаскироваться – собаки любое укрытие обнаружили бы без труда. Провизия кончилась через сутки, они ведь много не брали с собой, и так выгадывали, как могли. Их грамотно оттесняли вглубь вражеской территории, и запасы таяли буквально на глазах. Афоня Петров, старый товарищ, якут, проводник, выводил какими-то неведомыми тропами, но невидимый противник словно мысли читал, а точнее, думал аналогично и все их ходы наперед предвидел. Правда, если бы не Афоня, их давно загнали бы в ловушку, но хитрый якут по-звериному, интуитивно-загадочно вёл мимо засад, лишь один раз едва-едва не попались. Малинин вытащил ситуацию из категории безнадёжных, он сам не понял, как почувствовал залёгших впереди стрелков, успел оттолкнуть идущего следом подпоручика Смольянинова и открыл огонь навскидку с двух рук из двух наганов в кажущуюся пустоту, резко перемещаясь вбок скрестным шагом в полуприсяде, прикрыв собой группу. Афоня растворился между деревьев, отвлекая интерес противника на себя беглым, но точным огнём карабина, а остальные откатились назад. Расстояние до засадников было

изрядным и револьверный огонь не мог причинить вреда, даже если стрелял такой мастер, как капитан Малинин, но красные не выдержали – и завязалась изрядная перестрелка. Малинина зажали огнём ручного пулемета и винтовок, но Афоня пулеметчика снял – и они снова отошли без потерь, если не считать растраты боеприпасов. Теперь погоня висела на загривке, дышала в затылок, связывала движение, Малинин спиной чувствовал взгляды противника. Снова углубились в болота, шли, без рассуждений доверившись чутью Афони Петрова. И снова их ждали на выходе из болот, снова загнали назад, вглубь трясины ружейно-пулемётным огнём, снова они шли точно след в след за Афоней. Кто же командует облавой, думал Малинин, кто? Увидеться бы с тобой, неведомый визави, наверняка знакомы. Себе Малинин не врал, противник был явно классом выше его самого, и Малинин уже сомневался, что им удастся выбраться живыми. Подпоручики Смольянинов и Владиславлев совсем выбились из сил, плелись следом безразлично, словно лишённые разума, чувств, эмоций. Малинин осознавал, что появишься сейчас рядом красные – оба сдались бы без боя. Прапорщик Лужнин, самый юный, всегда смотревший на Малинина с немим обожанием и буквально телячьим восторгом, пока крепился, видимо, обожание не давало окончательно пасть духом, но силы оставляли и его, он спотыкался на ровном месте, шел тяжело, без обычной лёгкости и резвости. Малинин объявил очередной короткий привал: все повалились в траву и застыли, хрипло и бессильно дыша.

– Плохо, командир, – шепнул Афоня. – С ними, – он кивнул на молодых офицеров, – не уйдем.

– Вижу, -зло процедил Малинин. – И что ты предлагаешь?

– Разделиться надо. Я уведу погоню, а ты выводи группу.

Малинин покачал головой:

– Не выйдет, Афанасий! Вывести можешь только ты, без тебя нас очень быстро отловят.

– Подожди, командир, не руби сгоряча! Вы отойдёте к болотам, затаитесь, я помотаю погоню сутки по лесу, вернусь за вами, а детишки отдохнут, силы восстановят, тогда уйдём вместе, иначе никак!

– А если тебя подстрелят? – вопрос был риторический, ответа не требовал, но Малинин категорически не желал дробить группу, тем более расставаться с Афоней. Хотя и чувствовал, что якут прав.

– Против нас действует кто-то свой, – сказал Малинин. – Слишком уж грамотно нас преследуют. Чувствуешь? Он наверняка твой вариант просчитал и постарается тебя отрезать и уничтожить нас. А один ты им не страшен, даже если и уйдёшь. Нельзя нам делиться, Афанасий.

– Так есть шанс, командир, а иначе вымотают и додавят. Решайся. По-иному не выйдет.

Лай собак и треск сучьев под ногами преследователей послышался рядом, Малинин поднял группу и погнал вперёд. Бегом, бегом. Афоня жестом показал: отрывайтесь, я уведу в сторону погоню, потом догоню! – и исчез в густом кустарнике. Грохнул карабин, ему ответил нестройный залп трехлинеек и злобный стрёкот «Льюиса». Малинин продолжал уводить группу, но преследователи на трюк Афони не купились, основная часть гонителей по-прежнему висела у развед-диверсионной группы на загривке, лишь небольшой отряд, даже не отряд, ватага, двинулась за Афоней. Малинин ощутил предательский холодок в груди и мысленно начал подсчитывать оставшиеся патроны. Выходило скверно. Нагонят их быстро, а для полноценного боевого столкновения боеприпасов не хватит. Вчетвером они продержатся несколько минут, и если до того их не подстрелят – придется идти врукопашную. Нет, они, конечно, бойцы хоть куда, всех троих он лично натаскивал, но что толку. Отчаявшись взять живыми, их просто перестреляют.

Речка возникла неожиданно, даже не речка – тоненький ручеёк, они пошли вдоль по воде, и вдруг Малинин понял, что свершилось чудо: преследователи больше не наступают на пятки, их потеряли, на какое-то время можно перевести дух. Не успел он это осознать, как появился

довольный Афоня: завел преследователей подальше, сделал крюк, след оборвал и двинул наперехват. Улыбка во все лицо, а глаза хитрые-хитрые. Малинин вспомнил, что в редкие мгновения благодушия подполковник Вешнивецкий называл якута хитроглазым и не без причины. Малинин улыбнулся воспоминаниям, посмотрел на лежащих без движения подпоручиков и прапорщика. Когда-то давно, в другой жизни, в ином измерении, в чужой реальности подполковник Вешнивецкий взял их, молокососов, юнкеров вчерашних, «чайников», и изготовил, словно скульптор из глины вылепил, боевую контрразведывательно-диверсионную группу. Отбирал по одному ему ведомым признакам, из множества одного, но, как потом понял Малинин, влюблённых в свое дело. Сам он, Серёжа Малинин, например, оказался превосходным стрелком, хотя раньше за ним особого рвения к стрелковым наукам не наблюдалось. Северианов же проявил особый талант в рукопашном бое, равных ему Малинин не встречал, сам с ним спарринговать страшился, хоть и работал Северианов мягко, удары лишь обозначал, между тем Малинин его практически никогда не мог достать, каких попыток не предпринимал. Где Вешнивецкий добыл Афоню Петрова – так и осталось загадкой, но Афоня один стоил всех. Нюх у него был, как у доберман-пинчера, стрелять он мог с закрытыми глазами, на слух, по прямой травинке определял направление движения группы противника, казалось, видит якут в темноте. А ещё он обожал читать. В любую свободную минуту Петров доставал из вещмешка книгу и увлеченно, по-детски забыв обо всем на свете, глотал страницу за страницей, облизывая указательный палец, перед тем, как перевернуть очередной лист. Может от этой его любви к чтению, изъяснялся Афанасий на русском языке чисто, даже иногда литературно, избегая слов-паразитов.

Развели небольшой бездымный костёр, Афоня мгновенно насобиравшему одному ему ведомых трав, кореньев, даже несколько грибов отыскал; и очень скоро все с хищным звериным аппетитом хлебали из котелка непонятное, но ужасно вкусное варево. Сразу потянуло в сон, Малинин разрешил молодым отдыхать, и те мгновенно уснули.

– Плохо, командир! – сказал Афоня. – Нас не потеряли, нас специально отпускают подальше, ослабляют поводок, усыпляют – значит, жди беды.

Малинин и сам это понимал, беспокойство глодало душу голодным волком.

– Нас ждут, определили направление движения, по запаху варева вычислили, сейчас обкладывают качественно, чтобы наверняка. Вы отдохните пока, я сползаю, посмотрю как и что вокруг происходит. Если вдруг случится чего – отходите к болотам, прорываться не пытайтесь – не выйдет.

Якут вернулся, сияя надраенным самоваром, и Малинин почувствовал, что беды позади.

– Есть шанс, Сергей! – то, что Афоня назвал его по имени, а не как обычно, командиром, говорило о многом.

– Впереди заслон, человек двадцать, с пулеметом, разместились грамотно, ждут, позади нас большой отряд, я понимаю, погонят в засаду. Только засадники уже нас похоронили и расслабились, вздохнули свободно, курят, махрой издалека тянет, а мы-то еще живы. Есть один вариант, но очень зыбкий: пройти рядом с ними, под самым носом, сквозь пальцы просочиться, мы-то с тобой проползём легко, а вот молодёжь...

Малинин раздумывать не стал, поднял чуть посвежевших офицеров и повёл группу за Афоней. Шли сторожко, след в след, почти беззвучно. Когда Афоня замер, Малинин понял, что наступает кульминация, итог операции. Или им повезёт, или здесь закончит своё существование развед-диверсионная группа.

Они подбирались к затаившимся красным с подветренной стороны, и теперь Малинин сам различал запах махорки, ружейного масла и человеческого пота. Курить в засаде – дело последнее, Малинин кивнул Афоне:

– Ты первый, потом остальные, я – замыкающий. Огня не открывать!

Спустя два часа, оторвавшись наконец от назойливого дыхания в затылок, Малинин понял: на этот раз обошлось! Он гнал группу бегом, не снижая скорости, без привалов и долгих остановок, сейчас все решало время. Успеют выйти к своим – все будет прекрасно, не успеют – придётся снова отходить и начинать по-новому.

Но все, как будто, обошлось. Вырвались они из лесу, добежали до небольшого хутора, там уже казаки. Можно отдохнуть, расслабиться, поверить, что в этот раз повезло...

Красные стояли, хмуро глядя вниз, Загоруйко мечтательно шурил усы. Сзади толпились до полутора десятка солдат, хищно разглядывая пойманных коммунистов, а какой-то слащавый мужичонка в купеческому картузе тыкал кнутом в грудь молодой женщины и сладостно приговаривал:

– Вот она, ваше благородие, наиглавнейшая змеюка. Жинка главного комиссара.

Юный хорунжий с азартом и некоторым даже любопытством хлестнул женщину нагайкой, целя в лицо, но она в последний момент отшатнулась непроизвольно, и удар лишь ожег плечо.

– Ого! – С неподдельным, даже детским любопытством посмотрел хорунжий на женщину и снова взмахнул плеткой. Несчастливая мышка хочет поиграться с матерым котом? Извольте-с! Ноздри хищно раздувались, зрачки расширились, офицер был явно неадекватен, хотя спиртным не пахло. Либо кокаин, либо просто пьян от крови и чувства непомерной власти. Стоящие вокруг довольно улыбались, похохатывали; и Малинин вдруг со всей отчетливостью понял, что в следующий раз красные их обязательно изловят, не выпустят, ибо воевать уже будут не за советскую власть или мировую революцию, а за конкретных расстрелянных селян. Лицо побагровело, кровь ударила в виски, Малинин резко шагнул вперед, прихватив хорунжего за запястье, как сквозь вату услышал резкий окрик Афони:

– Командир!

Хорунжий изрядно удивился: занесённая для удара рука словно попала в стальные клещи. Он обернулся, готовый стряхнуть непонятно откуда взявшуюся назойливую муху, и увидел два безжалостно прищуренных глаза, два испытывающих крайнее презрение зрачка, словно два пистолетных дула.

– С «мирняком» воюешь? – зловещим шёпотом спросил Малинин. – Всех большевиков перебил, остались только эти? Других не нашёл? Проскачи вперёд верст десять – там как раз дожидаются. Или только с бабами воевать умеешь?

Рядом с красавцем хорунжим пропылённый с ввалившимися щеками, измазанным жжёной пробкой в виде тактического грима лицом и мятым обмундированием, Малинин явно проигрывал статью, да и группа его больше смахивала на кучку дезертиров, либо окруженцев, однако выправку офицерскую камуфляжем не скроешь, и поведение тоже способствовало.

– А ну встать, как положено, мерзавец! – рывкнул Малинин разъяренным офицерским басом, и белёсый хорунжий едва не обмочился, а похохатывающие солдаты враз присмирели и изобразили строевую стойку. – Как стоишь, сволочь, а ну смирно! С тобой целый капитан разговаривает!

Со стороны они смотрелись весьма колоритно: отряд красномордых, раскормленных карателей и пропылённая, измотанная долгим преследованием пятёрка малининцев. Однако лишь полный идеалист рискнул бы сейчас поставить на красномордых и сытых казачков. И численный перевес не являлся определяющим фактором.

Солнце резвилось, светило слишком игриво и радостно, о чём-то своем щебетала птичьё сборище, а опьяняющий, дурманящий ноздри аромат степных трав провоцировал весьма романтическое настроение. Юрий Антонович Перевезенцев, Новоелизаветинский поэт и прозаик сказал бы высокопарным слогом, поэтической строфой припечатал: «В такой замечательный летний день так не хочется умирать!». Как будто радостное или, наоборот, печальное состояние природы имеет способность определять время, когда смерть похлопает по плечу

костлявой рукой. Понятное дело, никто не спрашивает у курицы о её планах на день: имеет ли она желание попасть сегодня в суп, или, может быть, возражает. Курица – она и есть курица. Участь её предрешена. И мнение комбедовцев тоже не интересовало казаков: хотят ли они быть расстрелянными именно сейчас или нет, – роли не играет. Пока господа офицеры бранятся, пусть используют последние минуты по своему усмотрению: на небо посмотрят, вспомнят прошедшую жизнь, или молитву творят. Но вот каратели уж совершенно определённо не планировали на сегодня таких эксцессов, как возможная смерть. Причём, не от большевистской пули, а от своих. Малининской же пятерке играть со смертью в гляделки было в полной мере обыденно и вполне привычно, капитану достаточно лишь сигнал подать – и завертится кровавая карусель. Сборищу дворовых псов весьма затруднительно одолеть пятерых озлобленных матёрых волков.

Афоня неодобрительно покачал головой, но карабин незаметно изготовил к бою, и другие офицеры разведгруппы положили руки на кобуры.

– Верно, ваше благородие, – степенно проговорил пожилой урядник. – Зверствовать ни к чему, лишнее. Заряжай! – зычно скомандовал он солдатам. Противно и нестройно заклацали затворы, загоняя патроны в патронники: вверх, на себя, от себя, вниз.

– Целься!

– Оставить! – резко шагнул навстречу поднявшимся в горизонтальное положение стволам Малинин, и добавил уже неуставное. – Совсем офонаренели, скоты?!?! Разряжай!!!

– Нельзя никак, ваше благородие, – рассудительность заметил урядник. – Краснопузых кончить необходимо. Иначе они завтра нам в спину стрелять станут.

Возможно, урядник был прав. Возможно. Если сегодня отпустить троих – завтра их будет уже тридцать три. Или даже сто тридцать три. Но не урядника пятые сутки кряду преследовали лучшие следопыты красных. Не на блондинистого хорунжего ставили пулеметные засады, не этих бойцов с безоружным «мирняком» мариновали в болотах, словно переспелую клюкву. Боевой русский офицер, считал Малинин, не опустится до расстрела мирных крестьян, даже если они действительно имеют какое-то отношение к красным. Каждому своё: кому с частями особого назначения силами меряться, куражом тягаться, а кому экзекуциями заниматься. Только лучше им не встречаться.

– Молчать! – взбешённым бультерьером рявкнул Малинин. – Пшли вон!

– Гляди, вашбродь, тебе жить, – с нескрываемым презрением сказал урядник. Каратели развернулись и быстро пошли прочь.

– Патронов у нас практически нет, эти не дадут, – задумчиво кивнул Афоня в спины уходящим. – А красные могут прийти по нашему следу, и против них нам обороняться нечем. Перебьют нас – и завтра хорунжий сотоварищи вернутся, тогда уж за нас рассчитаются: не троих, а полдеревни перебьют, остальных пороть станут. И, между прочим, будут правы.

– И что? – резко обернулся к якуту Малинин, сверкая яростью. – Предложения?

– Никаких, – спокойно ответил Афоня. – Только констатация факта. Ты же знаешь, командир, что прав, и я знаю, и ребята, мы все тебя понимаем и поступили бы точно также. Но в настоящее время ситуация патовая.

Подполковник Вешнивецкий научил якута многомудрой игре в шахматы, и теперь Афоня перемежал свою речь непонятными для некоторых, кроме железки и виста ничего не признающих, терминами.

– Нужно уходить, – сказал якут. – Но «мирняк» ты без защиты оставить не можешь, а красные могут появиться с минуты на минуту... – Он не договорил, рассусоливать не было нужды – они мыслили одинаково.

– Прав твой солдат, ваше благородие, – неожиданно подал голос один из приговорённых, хмурый пожилой мужик, с разбитым лицом и свежим рубцом через щёку, хорошо глаз не выбили, – следом нагайки. – Ты пришёл и ушёл, благородство сегодня проявил, а они зав-

тра вернутся, когда тебя рядом не будет. Они от крови пьяные, от безнаказанности, вот и учинят смертоубийство и разорение. А ты, видать, кровушки досыта напился, не веселит она тебя более.

– Что? – резко обернулся Малинин.

– Видок у вас тот ещё, – как ни в чем не бывало, продолжал мужик. – Потрёпанный, пропылённый весь. Только вы не пораженцы и не дезертиры, ты, например, вашбродь, побриться не забыл. Вас пятеро: четыре офицера и только один солдат. У каждого по два *ливольверта*, у солдата не трёхлинейка, а кавалерийский карабин. Ходите вы слишком легко, невесомо, бесшумно. Без лошадей, значит, по лесу двигались. Патронов у вас нет, стало быть, расстреляли все. Мирных не трогаете...

– Продолжай! – кивнул Малинин.

– Из тыла Красной Армии идёте, – сказал мужик. – Какую-то большую пакость сотворили. Каратели – это так, нашим на один зубок, а вот вас надо в первую очередь истреблять, вы опасные.

– Не боишься мне такое говорить? – прищурился зло Малинин.

– А ты, вашбродь, руки об меня марать побрезгуешь. Да и не интересен я тебе. Не твоего уровня противник.

Малинин бессильно скрипнул зубами. Очень хотелось надавать наглецу по сусалам, только это не выход, да и не станет он мордовать безоружного и заведомо слабого, тут хуторянин прав. Не так их воспитывал подполковник Вешнивецкий. Малинин отвернулся.

– Ты бы, мил человек, помолчал, что ли, не гневил Бога, – ненавязчиво ввинтился в разговор юрким ужом Афоня. – Грубишь, издеваешься, а мы тебя, вроде как, не обижали. Если ты храбрый да удалой – беги домой, хватай ружьё да возвращайся силами меряться, чего языком зря колотить. Постреляешь нас – вот и выйдет тебе удача и полное удовольствие.

Мужик усмехнулся нехорошо.

– Нет уж, дурных ищите-свищите поодаль. Я супротив вас много не сделаю, обожду.

– Валяй, – устало махнул рукой Малинин. – Если вдруг в спину задумаешь стрелять – не взыщи!

Громко застучали копыта – это уходила разъярённая полусотня карателей. Казаки были злые, не вкусившие комиссарской крови, не потешившие душу, проклиная, вероятно, чистоплюйство и глупую привередливость капитана Малинина. Он не сомневался, что завтра же об этой его, с их точки зрения, глупой выходке будет доложено по начальству, а ещё через некоторое время станет известно всей армии, да ещё с таким подробностями, про которые он и сам до сих пор не догадывался. Только на это Малинину было глубоко начхать, его сейчас больше беспокоили обстановка и состояние собственного подразделения.

– Доберутся до ближайшего села – и там разгуляются во всю ивановскую. А назавтра вернутся сюда и добавят удовольствия. Уходить вам надо, господа комбедовцы, или кто вы там, – невесело проронил Афанасий. – Да и нам не грех. Бабу-то за что хотели жизни лишить? – повернулся якут к представителю комитета бедноты.

– Муж у неё комиссар. За красных воюет.

– Чего ж с собой не забрал?

– Забрал, да она рожать домой вернулась, как ваши нагрянули – ребёнка не оставила.

Малинин почернел лицом. Повернулся, внимательно рассмотрел молодую женщину, безразлично переступающую босыми ногами.

– Сын, дочь?

Женщина молчала, словно не слышала капитана.

– Дочка, – ответил за женщину комбедовец. – Третьего дня родилась.

Странно, но этот человек нравился Малинину. Вроде бы неприятель, явный военный противник, супостат, но держится достойно, не дрожит и не трепещет осиновым листом. Заслу-

живающий признания оппонент, короче говоря, Малинин уважал таких. Убеждённый, идейный враг.

– Тебя зовут-то как, почтеннейший? – с интересом осведомился капитан. – А то как-то не по-людски общаемся.

– Антип Фёдорович, – мужик ответил степенно, с вызывающим самоуважением, он, похоже, окончательно освоился и ни капли не боялся.

Малинин почувствовал вдруг, как усталость предательски навалилась стремительным ударом по ногам, расфокусировкой взгляда, полной отрешённостью от действительности. Напряжение, ярость, азарт, пыл, кураж – всё, на чем он держался, ушло, оставило, запал догорел. Малинин заскрипел зубами: ничего ещё не кончилось, силы нужны, и требуется отыскать их немедленно, себя переломить, чего бы ни стоило!

– Я вот что решил, Антип Фёдорович! – Малинин с долгим вниманием посмотрел комбедовцу в глаза. – Ты нас в город отвезёшь. Готовь телегу, лошадь – собирайся, короче говоря. Женщину и ребёнка тоже возьмём, постараюсь в городе пристроить. Дружков своих также можешь прихватить с собой, иначе поубивают вас здесь.

– А ежели я не соглашусь? – прищурился комбедовец.

– Реквизируем и лошадь, и телегу! – зло отрезал Малинин. – У тебя, либо ещё у кого... Не торгуйся, не на базаре! Недельку-другую в городе переждёте – потом вернётесь! И побыстрее, любезнейший, я передумать могу!

Солнце светило в глаза, одуряюще пахло полынью, скрип телеги не раздражал, а, наоборот, убаюкивал, глаза слипались. Молодые офицеры, разметавшись на телегах, спали мертвецким сном, тяжело, беспробудно, напряжение отпустило, пришла нега и расслабленность. Афоня сторожко высматривал окрестности, дозволив Малинину подремать, со стороны узкие глазки-щёлочки якута казались закрытыми, хотя указательный палец зорко лежал на спусковом крючке карабина.

Корунд, топаз, горный хрусталь, если осветить его хорошо и правильно поставленным светом, будет сверкать почти так же, как переливается изящно огранённый бриллиант. Искусно выполненный профессиональным ювелиром стеклянный страз тоже внешне походит на алмаз. А известный мошенник Ося Маркин успешно реализовывал бутылочные осколки под видом драгоценных камней, да ещё тихим вкрадчивым шёпотом под строжайшим секретом сообщал на ухо доверчивому ротозею-покупателю древнюю историю сего раритета, найденного много веков назад в копиях Индии и тайно вывезенного сначала в Европу, а затем, также тайно, контрабандной и в Россию. Но все эти полудрагоценные камни и стекляшки так же походят на гордо и завораживающе посвёркивающий бриллиант, как похож был розовощекий толстенький барчук Серёжа Малинин, Серёженька, Сержик, Сергунчик, на сухого жилистого капитана Малинина, разведчика и диверсанта, головореза, убийцу и, вообще, хорошего человека. Любимец престарелых родителей, мягкий, рыхлый Серёжа, беззлобный увалень, пухленький медвежонок о карьере военного не то чтобы не помышлял, он и в дурных снах такого увидеть не мог. И все же один раз в жизни отец настоял на своём, и единственного любимого отпрыска отдали в военное училище. В науках Серёжа сильно не преуспел, учился ни шатко, ни валко, поэтому выпуститься должен был подпрапорщиком, но вышло иначе. Чем приглянулся этот неуклюжий увалень подполковнику Вешнивецкому понять невозможно, но сей изящный господин, больше схожий с утончённым интеллигентом, чем с потомственным военным, предложил ему вступить в свою группу. Убеждать Вешнивецкий умел, хотя всегда разговаривал ласково и весьма уважительно, и Малинин сам не понял, как согласился. Подполковник своих воспитанников ни в коем разе не муштровал, не давил авторитетом, не ломал характер. Он непостижимым образом умел находить в человеке такие струны, при игре на которых тот сам загорался предстоящим делом и выполнял его вдумчиво и со всей возможной энергией. Через три месяца Малинин в удовольствии, ни сколько не запыхавшись, пробегал вёрст пять-шесть

по пересечённой местности, и бесчисленное множество раз отжимался на кулаках от земли, а от стрельбы из нагана получал подлинно сказочное блаженство. Револьвер стал для Малинина не просто оружием ближнего боя, как для остальных. Он стал даже не продолжение руки капитана, скорее, частью его тела. В любой момент, в каком бы положении Малинин не находился, наган мог оказаться в его ладони раньше, чем он подумал об этом. Как-то мягко и ненавязчиво подполковник рассказал, что стрелять, как в тире, с упора – это одно, а вести огонь в движении, в кувырке, в перекате – это гораздо интереснее. То, что вытворял через полгода Малинин, было непосильно цирковым акробатам и другим гимнастам, не говоря уж о полевых офицерах. А ведь когда-то маменька приглашала для него учителя музыки. Когда-то он вполне сносно мучал скрипку и фортепиано, различал четверти, восьмушки и шестнадцатые, преизрядно веселил гостей трагическим исполнением «Ах, не говорите мне о нём!» – и, по их мнению, голос имел «весьма премилый и ласкающий слух»... «О tempora! О mores! – О времена! О нравы! – сказали бы сейчас о Серёже Малинине те, оставшиеся в прежней жизни, в ином измерении, в отошедшей реальности. – Мальчик был невообразимо талантлив, подавал надежды, должен был стать вторым Паганини! И во что превратился! Уму непостижимо!».

Он проснулся мгновенно и сразу. Словно лёгкий платок с головы под сильным порывом ветра слетел сон, спонтанно, беспричинно и окончательно. Острое чувство тревоги кольнуло под лопатку, Малинин увидел, как подобрался и напрягся Афоня. Невидимые флюиды опасности передались и молодым офицерам, те зашевелились и прекратили беззаботно, по-щенячьи дрыхнуть.

Банда появилась неожиданно. Даже не банда, разъезд, человек десять-двенадцать вооружённых верховых в полувоенной и повседневной крестьянской одежде. В свете солнечного света, на контражуре их силуэты читались однородной неспешно-вялой, колышущейся в бесконечной пыли массой, плавно текущей навстречу. Пара телег в степи были сладким лакомым кусочком, и опасности представлять не могли никоим образом – всадники пришпорили коней и с гиканьем и улюлюканьем понеслись наперерез. Бандитское оружие, испоганенная винтовка с отпиленными дулом и прикладом, обрез, имеет лишь одно преимущество: возможность скрытого ношения. При выстреле в коротком стволе не успевает выгореть весь порох, и пламя из дульного среза вырывается далеко вперед, а звук гораздо громче. Пуля мощного винтовочного патрона, выходя из обрезанного ствола, начинает хаотично кувыркаться, отчего прицельная стрельба возможна лишь на коротких дистанциях.

Малинин уже различал отдельные фигуры, азартные лица. Впереди красовался толстый бородач в купеческом картузе, потный и донельзя довольный, словно выиграл в лотерею сотню тысяч рублей по билету от театрального гардероба, за ним двое помладше, в офицерских френчах, с залихватскими чубчиками, сладко облизывающиеся от вожделия в предвкушении лёгкой поживы. Это были не бойцы, это были шакалы, трусливые и отчаянно жестокие в своей безнаказанности. Сближаясь с противником, разъезд терял свои главные преимущества: дальнюю дистанцию и мобильность – и становился уязвимым для огня револьверов. Ибо на большом удалении серьёзное противление мог оказать лишь Афоня с его карабином, к тому же запас патронов у малининских бойцов имелся только на одно скоротечное огневое столкновение. Бандиты приближались стремительно, нацеленные на грабёж и кровавое, но зато приятное и увлекательное развлечение, а вовсе не на «внезапный встречный бой на поражение в составе малой группы». Кто-то для острастки выпалил в воздух, и тогда Малинин грозно рявкнул: «К бою!». Объяснять что-либо не требовалось, все члены разведгруппы свои обязанности знали на ять. Через секунду на телегах не было никого: скатились в пыльную траву, сшибли с телег красных, зло ошетинились стволами. Малинин, перехватив оторопевшего возницу-комбедовца поперёк тела, словно в классической борьбе, швырнул его через себя вниз, перекатом ушёл в сторону, ожившие револьверы сами прыгнули в руки. Прапорщик Лужнин легко, как пушинку, и в то же время аккуратно и бережно, словно до краев наполненный

сосуд, ссадил жену комиссара и ее малютку, прикрыл собой. Ситуация изменилась мгновенно и кардинальным образом: добыча превратилась в охотника, а охотник – в добычу. Афоня уже стрелял. Он выпустил обойму серией, практически без пауз между выстрелами. Карабин в его руках, казалось, исполнял какой-то ритуальный танец, ибо для передёргивания затвора, перезарядки «Мосинки», в отличие от германского «Маузера», необходимо отнять приклад от плеча. На возврат винтовки в состояние прицеливания также нужно время. Но у Афоня все получалось молниеносно и гармонично. Дуло карабина выплюнуло пять остроконечных пуль со свинцовым сердечником и мельхиоровой оболочкой калибра 7,62 мм., и в стане противника началось замешательство. Бородатый толстяк полетел в пыль первым, двое во френчах умерли одновременно, так и не перестав вождельно улыбаться. Пять лошадей лишились всадников; беспорядочно, хотя и ненадолго защёлкали офицерские наганы. Ещё несколько бандитов вывалились из седел, остальные принялись разворачиваться для отступления, но было поздно: они приблизились на расстояние, достаточное для ведения прицельной стрельбы из короткоствольного оружия, и Малинин открыл огонь с двух рук. Постоянно перемещаясь в полуприсяде справа налево и одновременно вокруг всадников, отвлекая противника на себя, капитан бил с упреждением, вынося точку прицеливания вперёд по линии движения мишени и сохраняя револьверы в постоянном движении, «дожимал» спуск, не прекращая «поводки» оружия, тратил не более одного патрона на каждую цель. Кто-то всё же успел выстрелить в то место, где ещё мгновение назад находился Малинин, и даже попробовал передёрнуть затвор до того, как пуля левого нагана вошла самонадеянному стрелку между глаз. Огонь был страшен и жесток, патроны закончились быстро и одновременно с тем, как последний бандит упал с лошади. Пыль, кровь, резкий запах пороха, гул в ушах, конское ржание. Утратившие верховых лошади мечутся по полю и изловить их нет никакой возможности. Афоня уже деловито потрошит карманы убитых на предмет боеприпасов. К карабину набрал, к револьверам – нет, так что пришлось господам офицерам вооружаться обрезками. Лужнину пулей ободрало плечо, у остальных не было даже царапин, в общем, легко отделались. Малинину на секунду стало жутко: закрывая своим телом женщину, прапорщик являлся превосходной мишенью и серьезно его не зацепили лишь потому, что Малинин открыл огонь раньше, чем противники смогли выцелить Лужнина.

Комбедовцы испуганно хлопали глазами, наверное, уже попрощались с жизнью. Малинин легко пнул носком сапога подошву Антипа Фёдоровича, замершего на земле без движения, и процедил сквозь зубы:

– Подъём, коммуна, ехать пора, потом разлёживаться будешь.

Больше приключений в дороге не случилось, добрались вполне сносно, и на этот раз госпожа Удача благоволила капитану Малинину. Комбедовцев и женщину с ребёнком определили на постоянный двор, прощаясь, Малинин посоветовал Антипу Фёдоровичу вроде бы шутливо, ласково улыбаясь, но того от подобной улыбки словно мороз пробрал:

– Ты, Антип Фёдорович, уж сделай милость, больше не попадайся, в очередной раз может и не повезти. Бывай здоров, женщину оберегай, а уж если встретишься мне с оружием в руках – не обессудь.

Получилось зловеще, комбедовец поёжился, хотел что-то ответить и по возможности дерзко, но язык словно прирос к зубам, не слушался. Антип Фёдорович сумел лишь судорожно проглотить закупорившую гортань слюну и кивнуть.

В своих ожиданиях капитан Малинин не обманулся: каратели уже наябедничали высокому начальству – и Малинин получил изрядную выволочку от полковника Васнецова. То, что разведгруппа задание выполнила и вернулась без потерь, того не волновало совершенно, ибо налицо было едва ли не сотрудничество с красными. Начальник разведки капитан Голицын, пытаясь смягчить удар, вступился за Малинина горячо и страстно, в результате крепко досталось обоим.

– Считаешь себя правым? – спросил позже Голицын, Малинин лишь безразлично пожал плечами:

– Если бы это могло что-либо изменить...

Глава 14

Окна чернели спящей пустотой, словно указывая незванным посетителям на явную неуместность позднего визита. Тусклая луна почти не освещала спящую улицу, а дом видел десятый сон, но это мало смутило грозного прапорщика, который желал успеть всё и сразу. Белоносов бесцеремонно забарабанил в дверь и продолжал сие занятие до тех пор, пока в окошке не забрезжил слабый огонёк керосиновой лампы, и недовольный голос сонно произнёс:

– Кого по ночам носит?

Грозный прапорщик сильнее ударил в дверь кулаком и прикрикнул героическим фальцетом:

– Захаров! Открывай, мерзавец, контрразведка!

Откуда Георгий Антонинович взял такую форму обращения и почему обозвал невидимого визави мерзавцем, он и сам не понял и даже удивился, вероятно подсознательно хотел продемонстрировать Насте свою решимость и готовность к свершению подвигов. Хотя столь грубый окрик сильно шёл вразрез с всегда вежливой и даже слегка наивной обходительностью грозного прапорщика, да и вышел окрик, честно говоря, не сильно страшным. Но слово не воробей, за дверью недовольно завозились, потом звякнул засов и на пороге возник белым призраком некто в наброшенном на исподнюю рубаху старом сермяжном армяке. Керосинка выхватила из темноты худое лицо мужчины лет тридцати, по всей видимости, того самого Митьки Захарова. Ожидая встретить, как минимум, взвод вооружённых до зубов солдат, он немало удивился, увидев перед собой лишь молодую девушку и мальчишку в форме прапорщика с огромной кобурой на боку.

– Веди в дом! – не пожелал выходить из своей грозной роли Жорж. И со свистящим придыханием добавил. – Быстро!

Митька Захаров, по-прежнему ничего не понимая, пятился назад, теснимый прапорщиком, Настя, как в бессознательном сне, двигалась следом. Втолкнув несчастного Захарова в крохотную кухню, Жорж навис над ним разъярённым коршуном.

– Говори всё, что знаешь про Виктора Нежданова! Запираться не вздумай – нам всё известно!

Митька Захаров не мог взять в толк, что от него хотят, часто-часто хлопал глазами, слюняво раскрывал рот, словно задыхаясь, пытался что-то лопотать. Жорж не давал опомниться, наседавал.

– Настя, дай фото! – он выхватил из рук Веломанской карточку Нежданова, сунул в лицо допрашиваемого. Главное, не терять темп!

Фотографическая карточка бравого Виктора Нежданова произвела на инвалида германской войны такой же эффект, какой производит на зрелого барана-производителя вид новых резных ворот. Он непонимающе уставился на карточку, глупо вращая глазами.

– Узнаёшь? – зловеще прошипел Жорж. – Будешь говорить или Ваньку валять?

Митька Захаров готов был рассыпаться прахом, уползти ловким ужом в щель между половых досок, вылететь в печную трубу лихой ведьмой, а Белоносов неотвратимо вопрошал:

– Давай, не крути! Когда и где познакомились? При каких обстоятельствах? Чего от тебя Нежданов хотел? Говори, нам все известно!

Митька пытался отбиваться, что-то лопотать, ещё больше подогревая агрессивный пыл Жоржа. Грозный прапорщик расстегнул верхнюю пуговицу кителя, словно невзначай положил ладонь на огромную кобуру.

– Ты, мил человек, видно шутки шутить собрался? – явно кого-то копируя, сурово-зловеще пробасил Белоносов. Получилось весьма посредственно, ненатурально, даже слегка

комично, сам же грозный прапорщик этого не почувствовал. В тусклом свете керосиновой лампы его фигура налилась силой, нависла над ничтожным собеседником несокрушимой горой, исполинским великаном, былинным рыцарем. Он чеканил слова, сам, по видимости, уверовав в собственную силу и способности мастера психологических допросов. Возможно, этому способствовал тараканий взгляд инвалида германской войны и неожиданное осознание собственного величия, умения внушать страх. Захаров заюлил, завертелся юрким ужом на раскалённой сковородке.

– Я не при делах! Мы всю жизнь к закону послушные были! Ни полусечки не своровали, кого хошь спросите! Дмитрий Захаров испокон веку со всем почтением, никогда и слова супротив, наговоры всё это!

Он нес какую-то ахинею, но Георгий Антонинович вдруг осознал, что небогатый запас угроз исчерпан, и теперь, по всем правилам допросной науки, надлежит переходить к мерам физического воздействия, то есть начинать Митьку Захарова бить. Лупить, мордовать, колотить, окучивать, выбивать показания, и юный прапорщик Белоносов сам испугался предстоящей перспективы. К тому же вспомнил о присутствующей здесь Насте Веломанской, и мгновенно залился краской ужасающего стыда. Только Митька этого не понял, не ощутил изменения в поведении контрразведчика, и втянув голову в плечи, испугавшись лютой расправы, быстро-быстро залепетал:

– Он Петьку Еремеева искал. Петька зимой еще в Москву подался, вернуться должен был, да исчез, этот его разыскивал...

– Еремеев где? – по инерции спросил Жорж, сам не веря ещё, что бить собеседника не придётся.

– Не могу знать! – заюлил Захаров. – Не возвращался он, как в воду канул...

– Зачем в Москву ездил?

– Дело у него.

– Какое?

– Не могу знать!

Жорж исчерпал свои грозные возможности, дальше мог последовать лишь фарс, и все же Жорж хотел доиграть партию до конца, потому прошипел зловеще:

– Все ясно с тобой! Говорить по-хорошему не желаешь, Ваньку крутишь! Собирайся, поедем в контрразведку, там все выложишь: и чего знаешь, и что знал, да забыл, и чего не знал – тоже вспомнишь...

Текст Жорж выпалил по наитию, сам не понял, что произнес, но Захаров поверил. Настя оторопела, боялась даже шевельнуться, но через секунду грязная кухня потеряла привычные очертания: потолок поплыл, перевернулся, а пол больно ударил в лицо, и всё померкло, исчезло, растворилось в белёсом тумане.

Глава 15

Небольшая рыболовная сеть, бредень, согласно словарю В. И. Даля, имеет предназначение: «Бродить рыбу, ловить бреднем, идучи водою и волоча его на клячах за собою». Однако рыболовные снасти можно использовать и иначе: штабс-капитан Северианов занимался, на первый взгляд, странным и не совсем обычным для боевого офицера делом: разложив на полу бредень, вырезал несколько прямоугольных кусков, расположив «клетки» сети по диагонали, пропустил по периметру всех деталей тонкий, но крепкий шнурок и сейчас сшивал куски между собой. Получалось нечто среднее между плащ-накидкой и курткой-балахоном. Сие странное одеяние штабс-капитан надел, сделал несколько движений, покрутился на месте, прошёлся по комнате. Снял, повесил и занялся еще более непонятным процессом: снизу вверх он подвязывал и подшивал к сети пучки мочала, лыко и лоскуты льняной мешковины разного размера и разных цветов: зелёно-серые, грязно-жёлтые, тёмно-коричневые. Когда Северианов отдавал в покраску пыльную кипу старых мешков, работники «шёлкокраসильного заведения Широковой Анны Тарасовны, третьей гильдии купчихи, Степная часть, в доме Гауланова, котлов 4, рабочих 7» смотрели на штабс-капитана с легким презрительно-недоумённым удивлением. Красить старую мешковину в грязно-зелёный цвет и разные оттенки коричневого мог лишь человек, мягко говоря, большой оригинальности и эксцентричности, или, выражаясь проще, бесящийся с жиру индюк, надолго распростившийся с разумом и здравым смыслом. Однако верные правилу «Изготовим любое гадство из материала заказчика», лишних вопросов не задавали. Распустив на нити куски мешковины по краям, Северианов перегибал их пополам и крепил к сетевому каркасу. Работа кропотливая, требующая громадного терпения и усидчивости, но Северианов обладал и тем и этим, а главное, от итогов работы зависел не столько успех задуманного, сколько жизнь. Дело двигалось со скоростью ленивой черепахи, но Северианов не ускорял процесса, тщательно проверяя каждый узелок, каждый лоскут. Получавшийся костюм мог менять длину и ширину в довольно больших пределах, не стеснял движений и хорошо сидел на одежде любой толщины, позволял совершенно бесшумно освободиться от зацепов и должен был превращать его обладателя в нечто травянисто-кустарное. Время текло неудержимо и неумолимо, Северианов работы не прекращал, вязал узелки, подшивал, обрезал лишнее с монотонным и нескончаемым упорством. Когда разноцветное лохматое одеяние было готово, надел его поверх одежды, вновь прошёлся по комнате, осматривая себя придирчивее, чем ярмарочный покупатель лошадиные зубы, тщательнее, чем поднаторевший, искушённый нумизмат редкую коллекционную монету. Удовлетворившись осмотром, проверил оба нагана. Четырнадцать патронов для скоротечного боя, для создания подавляющего огня, мягко говоря, немного, а перезаряжаться времени не будет. Плохо. Ещё есть карманная дамская пукалка: браунинг М 1906, боевой нож и «рукопашка». Ну и две гранаты Миллса, но это уж на самый распоследний случай. Ладно, посмотрим, решил Северианов. У него оставались чуть меньше двух часов, и он мгновенно заснул. Проснувшись, без аппетита, механически сжевал кусок ситного хлеба с салом, запил холодным чаем и начал собираться. Свой оригинальный маскхалат сложил в вещмешок, туда же отправил гранаты, Линнеманновскую пехотную лопату, бинокль, фонарик, флягу с водой. Запасные патроны к нагану, тщательно завернув в тряпицу, чтобы не гремели, уложил в патронташ, прикреплённый к ремню. Пора было отправляться.

Село Гусилище стало городской окраиной Новоелизаветинска в середине 19 века. Несмотря на плодородные земли, жители Гусилища издревле работать не любили, предпочитая хлеборобству и охоте промысел более лёгкий, а иным часом, и более прибыльный. Женская часть населения отправлялась в Новоелизаветинск нищенствовать, забрав с собой малолетних детей, мужская же подавалась на большую дорогу грабить купцов и просто состоятельных

людей, имевших неосторожность пуститься в дальний путь без надлежащей охраны. В Новоелизовинске попрошайек из Гусилища называли «гуслиями» и сразу выделяли из числа других побирушек. После присоединения Гусилища к городу, там всецело обосновался граф Василий Ильич Одинцов, инспектор по учебной части гимназий Новоелизовинской губернии, образованнейший и интеллигентный человек. Он поставил шикарный дом в два этажа, открыл в Гусилище, которое из села превратилось в городской район, гимназию, на собственные средства выстроил храм, ночлежки для бездомных. Держал ювелирную мастерскую, даже прослыл искусным мастером, любил работать по золоту, сам огранивал драгоценные камни. Правда, злые языки утверждали, что граф Одинцов является руководителем всех разбойничьих шаек Гусилища, и несметные богатства текут к нему не из ювелирной мастерской, а прямо с большой дороги, но это всё, конечно, злые байки завистников. В 1917 году произошёл трагический казус: граф Одинцов революции не принял, сокровища свои закопал в никому не известном месте, а сам бросился с моста в реку Ворю, утонул. Или помогли утопиться, доподлинно неизвестно, в общем, сгинул граф Одинцов со всеми своими миллионами. Дом его был разграблен и пришёл в полнейшее запустение, оставшийся без садовника роскошный сад зарос бурьяном и сорными травами, в общем, теперь уже ничто не напоминало о былом роскошестве.

Северианов неспешно шёл по улице, бросая незаметные взгляды по сторонам. В свете дня улица выглядела не намного приветливее, чем ночью. Чахлые деревца, покосившиеся дома, редкие прохожие. Гнетущее ощущение скрытой тревоги висело в воздухе. Северианов кожей ощущал липкие ошупывающие взгляды. Одиноким офицер, прогуливающийся по Гусилищу, смотрелся не просто белой вороной, он был чем-то инородным, привлекал множественное внимание и возбуждал нездоровое любопытство аборигенов. Переодевание в гражданский костюм, мало того, что противоречило мировоззрению русского офицера, было глупо, ибо каждого нового посетителя слободы «гусли» выделяли из людской массы, потому как все здесь знали друг друга. И даже знали, кто, когда и к кому может прийти. Нет, в открытую здесь проводить разведку бессмысленно. Возможно, опытный филер сыскной полиции смог бы слиться с гуслищевой массой, но Северианов даже попробовать не собирался. Филера, возможно, вычислили бы, а вот что вы, господа грабители, скажете насчёт офицера армейской разведки?

Северианов неспешно прошёл мимо дома графа Одинцова, внимательно и скрупулезно запоминая детали ландшафта, и также неспешно покинул Гусилище.

Эх, знатные хоромы соорудил себе когда-то граф Одинцов! Действовал не скупясь и с тратами не считаясь, ибо зависело всё только от его достатка, вкуса, пристрастий и фантазии. Для умильности картины дом непременно должен стоять на пригорке, возвышенности. Реализуя барскую затею, было сие изрядное земляное возвышение насыпано искусственно, и на нём вырос по-барски широкий, высокий деревянный дом с просторным мезонином, окружённый со всех сторон обширной террасой. «В камне жить не здорово, считал граф, и жильё должно быть деревянным, а главное, прочным и тёплым». Дом располагался так, чтобы с высокого балкона открывался вид на заречные луга, равнины, перелески, чтобы можно было и за порядком в Гусилище надзирать, и за работами в ближайших полях. На фронте – верхней части главного входа – помещён вензель, когда-то, видимо, преизрядно блиставший, ныне почти незаметный – замысловато переплетённые инициалы помещика: ВО, Василий Одинцов. Слева и справа от усадебного дома симметрично возведены флигели – одноэтажные постройки, соединённые с домом галереями и переходами. Во флигеле справа еще совсем недавно располагалась кухня, а в левом – помещения для предпочитавших тишину старших членов семейства, а также для многочисленных гостей, приезжавших обычно на несколько дней или даже недель. Двор пуст и занят только некогда красивыми цветниками, которые огибает усыпанная крупным речным песком дорожка. Экипажи гостей, въезжавшие в ворота, минуя цветник, подъезжали к парадному крыльцу.

Задняя, наиболее красивая часть дома с открытой верандой выходила окнами в парк, на устройство которого Одинцов в свое время потратил денег больше, чем на сам дом. Здесь был разбит прекрасный фруктовый сад, выкопан большой пруд, в который запустили голавлей и карпов, а также множество карасей. На берегу пруда стояла каменная беседка в греческом стиле с колоннами. Ее ступеньки спускались к воде изумрудного цвета, на поверхности которой лениво грелись рыбы. Воду в этот пруд подавал подземный ключ, и раньше её можно было запросто пить, без риска подхватить инфекцию. Густые аллеи, расходящиеся во все стороны, дорожки и мраморные статуи придавали парку столько прелести, что гости графа подчас проводили там целый день. Теперь же все это бывшее великолепие приобрело вид пустыря, носившего среди «Гуслей» оригинальное название «Сучье поле».

Выходить следовало затемно. Северианов подобрался к бывшему дому графа Одинцова со стороны парка. Уже начинало светать, Северианов малой лопаткой в считанные минуты отрыл небольшой окоп-скрадок, на дно постелил свёрнутое одеяло, срезал длинные стебли травы и закрепил их в петлях маскхалата, так что теперь он полностью сливался с окружающей местностью. Лицо и руки «покрасил» жжёной пробкой от винной бутылки, чтобы не демаскировались. Улёгся, укрылся костюмом-сетью. Приготовил бинокль.

Медленно светало. Начали появляться люди. Потянулись нищие и нищенки, занимая трудовые места. Куда-то расходился прочий народ. Потом утренний ажиотаж закончился и Гусилище замерло, редко нарушаемое одиночными прохожими. Прогрохотал железными колёсами одинокий лихач – пролетел по улице, словно простреливаемое пространство пересёк: быстро, одним рывком, не оборачиваясь. Где-то невдалеке послышались пьяные песни, женский визг да крики «Караул!». Грохнуло подряд несколько револьверных выстрелов. Тоска, грязь, безысходность, отсутствие жизненных перспектив. Мелкие воры, нищие, беспаспортные крестьяне, базарные торговки хламьём, барахольщики – грязная и оборванная развеселая пьяная публика. Северианов наблюдал. Обмотанный зелёной мешковиной бинокль, защищённый от солнечных бликов блендами, сделанными из голенища сапога, прекрасно позволял разглядывать мельчайшие детали обстановки. Вот к воротам Одинцовской усадьбы подъехала пролётка с откровенно бандитскими седоками, они сгрузили какие-то тюки, прошли в дом. Затем по одному стали подтягиваться люди, обличья интеллект не обезображенным, некоторые с оружием. Самое поразительное, что происходило всё это совершенно открыто, бандиты никого не боялись и не таились. Более того, боялись их: улица мгновенно вымирала, когда кто-либо появлялся возле ворот. Северианов насчитал одиннадцать человек зашедших в дом. Потом некоторые аборигены уехали, снова вернулись. Трое здоровеннейших, опухших от пьянства детей присели у входа прямо на земле, расставив стаканы, осьмериковый штоф самогона (1,53 литра), миску солёных огурцов. О чём-то оживлённо и красноречиво беседовали, вероятно, о женской красоте, ибо жестикулировали весьма недвусмысленно. Непонятно: то ли пикник, то ли охрана. Впрочем, пировали не долго, ибо бутылка опустела слишком стремительно, и слегка осоловевшая троица ретировалась внутрь. Барские хоромы, похоже, бандиты превратили в воровскую малину, хазу, притон, место сбора криминальных элементов общества. Северианов медленно водил биноклем, рассматривая два этажа, центральную лестницу.

О банде Петра Кузьмича Топчина рассказывали разное, по большей части совсем уж страшное. Топчин разъезжал по Новоелизаветинску на тачанке, и горе тому, кто подвернётся на пути – несчастного или несчастную хлестали плёткой, затаскивали в экипаж и увозили в неизвестном направлении. Запросто могли среди бела дня разуть и раздеть до исподнего, и жертва ещё должна была быть благодарна, что вообще осталась в живых. Звать на помощь бесполезно – никто не прибежит, а если и найдется неразумный – вполне может разделить участь несчастного, дабы не лез, куда не следует. Также у банды имелось в достатке винтовок,

наганов, даже, говорили, есть пулемёты, в общем, достаточно, чтобы вооружить как минимум взвод.

Стемнело. В доме засветились окна, послышалась разухабистая гармошка и нестройный хор. Все в сборе, что-то празднуют. Пора! Северианов медленно пополз к дому, подобрался под окна, замер, превратившись в слух. Тускло светила луна, Гусилище вымерло, боясь потревожить отдых воровской малины. Подъехала ещё одна пролётка, и Северианов теснее вжался в стену дома: из пролётки двое бандитов выволокли связанного офицера и молодую девушку. Неяркий свет из окон осветил лица пленников, и Северианов узнал Жоржа Белоносова из контрразведки, юная спутница прапорщика оказалась незнакомой. Жоржа волокли под руки, похоже, он был без сознания, девушка же, подталкиваемая в спину стволом винтовочного обрезка, шла сама. Вместо лица – застывшая маска ужаса, безысходности. Они прошли в метре от Северианова, и этот ужас словно передался ему. Ситуация менялась стремительно, пленных требовалось освободить незамедлительно, времени не было. Северианов изготавился к скоротечному бою. Живым нужен лишь главарь и то ненадолго. Штабс-капитан неслышной тенью скользнул к парадному входу, лёгким скользящим шагом проник внутрь. Там никого не было, даже намёк на часового, либо прочую охрану отсутствовал. А зачем, кто посмеет здесь появиться? А вот это вы зря, подумал Северианов, мягко поднимаясь по парадной лестнице, прижавшись к стене, держа оба нагана наизготовку и сторожко осматриваясь. За вестибюлем находился парадный зал – неременная часть помещичьего дома, ведь граф обязательно должен устраивать обеды, балы, приёмы. Стены обиты материей из расписных тканей, украшены зеркалами – это зрительно увеличивало размеры помещений. Под ногами беззащитно лежат книги из некогда богатой графской библиотеки. Захваченное богатое великолепие непременно должно превратить в хлев для утверждения собственной значимости, так что ли?

Никого, только хор голосов сверху. Северианов вплотную подошёл к двери, сцепил большие пальцы рук, превращая два нагана в систему из двух стволов. Ногой легко толкнул дверь. Вся банда сидела за бесконечно длинным столом, все вооружённые, обвешанные револьверами, бомбами, несколько винтовок прислонены к стульям. Прапорщик и девица – в стороне, у стены, бандиты рассматривают их, как диковинных насекомых. Что-то разухабистое наяряивает гармошка. Во главе стола – красочный персонаж: длинная светлая чёлка, элегантные гусарские усы, цветастая рубаха с расстёгнутым воротом, деревянная кобура маузера К-96 на ремне. Картина маслом, душераздирающее зрелище, апофеоз лиходейства, ода вседозволенности и беззаконию.

Сейчас всё сборище, ещё не ведая о том, перестало быть бандой, кодлой, шайкой, кагалом, воровской малиной, а приобрело статус того, что в наставлении по стрелковому делу называется групповой мишенью. Никто даже не успел повернуть головы, не то что понять что-либо. Северианов открыл огонь с двух рук. Сцепленные большие пальцы не позволяли оружию сбиваться во время спуска курка при стрельбе самовзводом, концентрированная плотность огня двух револьверов по групповой цели была страшна и не уступала пулемётному, словно Северианов стрелял из «Льюиса». Для такого вида стрельбы приходилось тренироваться, подолгу выдерживая наганы на вытянутых руках. Северианов целился каждым глазом по своему оружию, быстро перемещаясь вдоль стола к главарю боком полускрёстным шагом, не тратя больше одной пули на каждого противника. Брызнули в разные стороны осколки стекла, с истошным визгом оборвалась гармошка, щёлкнули вхолостую бойки наганов: патроны закончились. Северианов бросил пустые револьверы, из рукава скакнул в ладонь миниатюрный «дамский» браунинг М 1906, на вид игрушка, но в умелых руках – грозное оружие.

Выстрел.

Выстрел.

Выстрел.

Главарь ошалело раскрывал рот, силясь вдохнуть, словно язык распух и закупорил гортань, остальные признаков жизни не подавали. Кисло пахло сгоревшим порохом, сивушным духом, квашеной капустой и мочёными яблоками. И смертью. Северианов оказался рядом, мгновенно приставил ствол браунинга ко лбу главаря.

– Я задаю вопрос – ты отвечаешь, тогда у тебя есть шанс дожить до завтра. Если понял – кивни.

Главарь судорожно хватал ртом воздух, силился что-то сказать, но из горла вырывалось лишь сипение, похожее на скрип несмазанного колеса. Северианов сильнее надавил стволом браунинга.

– Все равно убьёшь, – наконец смог прохрипеть главарь.

– Мне не нужна твоя жизнь, – спокойно сказал Северианов. – Говоришь правду – и можешь идти на все четыре стороны. Только чтобы в городе я тебя больше не видел.

Главарь судорожно сглотнул.

– Кто убил ювелира Свиридского?

– Не знаю!

Северианов прищурился, поскрёб указательным пальцем спусковой крючок.

– Не знаю! – заорал бандит. – Не наши это. Ходили слухи, что его ЧК шлёпнула.

– Ерунда, зачем ЧК комедию ломать – изображать налёт?

– За что купил – за то и продаю. Слушок прошёл, что дело это гнилое, нечисто там всё.

– Что вам нужно от ювелира Ливкина, Семёна Яковлевича? Твои люди у него были?

– Камушек. Брильянт. Большой. Точно не знаю, говорено было, что дюже знатный камушек, цены немалой.

– Что за брильянт?

– Его зимой взяли ребята «Красавца» на дороге возле города. Купчишка в наши края ехал, с ним девка, а у девки цацки запрятаны, среди них этот брильянт. «Красавец» его барыге скинул, тот кому-то перепродал, а потом вдруг выяснилось, что сильно продешевили оба, камень цены огромной. Кинулся «Красавец» к барыге, кому, мол, камень запродам, да не успел, грохнули его легавые со всей его камарильей, а барыгу и вовсе замели в уголкову, так что концов не найти. Так и сгинул камушек. А недавно – опять слушок: видели камень в городе. Где, у кого – никто точно не знает, только сказано было: у ювелира искать надо, на улице Лентуловской.

– Кем сказано?

– Я его не знаю. Из господ кто-то, в городе неизвестный, появился недавно. Как меня нашёл – про то не ведаю, только встретились мы, он и шепнул: камень в городе, найдите, я хорошую цену дам.

– Как выглядит?

– Мужик тёртый, опасный. Круглый, как колобок, невысокий, но чувствуется: барин. Одет прилично, культурного из себя строит. Лица не разобрал: темно было, и котелок низко надвинут, на самые глаза. Голос такой... простуженный, как будто. Подловил меня одного, как так вышло – ума не приложу. Говорит вежливо, но словно бритвой режет. Струхнул я тогда, хоть и не робкого десятка. А он всё не отстает: найди брильянтик, только смотри, утаить не вздумай, на морском дне сыщу. Ну, послал я ребят на Лентуловскую улицу, только сгинули они, и ювелир сразу исчез, как ветром сдуло.

– Когда встречался с этим неизвестным благодетелем?

– Три дня назад, у трактира Солодовникова, на Казинке, только там его никто не знает, я справлялся.

– Как договорились связываться?

– Сказал, сам меня найдёт. Как брильянт добудем – так и найдёт.

– Что стало с тем купцом и барышней, у которых бриллиант отняли?

– Я там не был, но, думаю, известно что – на нож. Кто ж свидетелей оставляет, – сказал бандит и сам испугался сказанного.

– И кто такие ты не знаешь? – иронично произнёс Северианов, нежно поглаживая спусковой крючок дамского пистолетика. Главарь затрясся.

– Думаю, из благородных дамочка, от большевиков бежала с фамильными побрякушками, да не свезло...

– Пленные кто? – Северианов кивнул на Жоржа и Настю. Шок – вот то состояние, в котором они находились, характеризуя медицинским термином – «общее расстройство функций организма вследствие психического потрясения, положение, граничащее с кратковременной потерей сознания». Настя, вероятно, как раз чувств лишилась, и если бы Жорж не поддерживал ее, опустилась на пол, съехала по стене вниз, выпала из жуткой реальности.

– Чего от них надобно?

Щека главаря навязчиво и стыдно задёргалась: унижительное положение было неприлично, хотя и не совсем ново: когда-то ему часто приходилось бывать в шкуре униженного, запуганного и забитого. И ведь не так много воды с тех пор утекло, только напомнить теперь про то не мог никто: тех, кто знал – уже нет на свете, сам же он предпочёл крепко-накрепко об этом забыть, вымарал из памяти и очень надеялся, что навсегда. Но нет, ничто не вечно, напомнили. Если бы выражением глаз можно было причинять вред, убивать, уничтожать противника, главарь взглядом испепелил бы Северианова, разложил на составляющие молекулы, превратил в пар, однако «видит собака молоко, да рыло коротко». Свежий кисло-противный пороховой аромат из пистолетного дула и мягко выбирающий свободный ход спускового крючка палец мгновенно сменили яростное зыркание на преданно-щеляющее обожание и главарь покорно и даже слегка подобоострастно заблеял.

– Не ведаю, Ванька Зельцов с Котькой Игнатенкой их сюда прикобенили, говорили, что по нашу душу контрразведка клинья подбивает, собирались допрос им тут учинить по всей форме, только не успели.

– Ты слишком торопишься умереть, – с сожалением проговорил Северианов. – Что ж, ты сам выбрал свою участь...

– Не надо! – истошно заблажил главарь, пытаясь отстраниться назад, отодвинуть переносицу от пистолетного дула, как будто это могло ослабить убойную силу 6,35-мм пули браунинга М1906. Заскреб сапогами по полу, желая отодвинуться вместе со стулом, плечи мелко задрожали, затряслись в неудержимо-страшном танце. Северианов увидел, как невообразимо расширились зрачки бандита. – Не стреляй, правду говорю, не знаю ничего, не успели допросить, даже не начали! Пальцем не тронули!

Он не врал, он и вправду ничего не знал. Северианов поразился: человек способен меняться до полной противоположности. Сейчас перед ним на стуле съезжилась полнейшая развалина, жалкая трясушная пародия на человека, ни в коей мере не могущая быть тем безжалостным и грозным бандитским главарем, атаманом шайки, хозяином воровской малины, государем всея Гусилища, в общем, тем, кем он был несколько десятков минут назад. Это трясушее, полностью деморализованное существо вызывало лишь чувство брезгливого омерзения, гадливости, Северианов опустил пистолет.

– Ты обещал, обещал! – заходился пронзительным визгом бандит.

– Обещал – выполню! – Северианов сделал короткое движение пистолетным дулом справа-налево: убирайся – главарь понял, вскочил и бочком-бочком, по стеночке засеменил к выходу.

– У тебя есть час, чтобы исчезнуть. Из города. Навсегда. Увижу ещё раз – пристрелю на месте! – бросил в спину улепётывающему бандиту Северианов. Шансов, что почуяв некую толику свободы, Пётр Кузьмич Топчин, бывший главарь банды попытается по-воровски: исподтишка, втихомолочку напасть, взять реванш, рассчитаться с обидчиком не было ни

малейшего, однако Северианов дождался, пока на улице приниженно и бесправно прошелестит удаляющийся сапожный топот, только после этого спрятал оружие и повернулся к освобождённым пленникам.

Глава 16

Фортуна – дама капризная и весьма своевольная. У нее не бывает постоянных любимчиков, баловней и фаворитов, ибо никогда не может быть известно, какой фортель сия прихотливая леди способна выкинуть на пустом, собственно, месте и без всяких, казалось бы, поводов. Ещё вчера вы можете занимать весьма высокое положение в обществе, портмоне трещать от банкнот, а самая красивая женщина смотреть на вас с приятным вождением. Но наступает сегодня, у вздорной госпожи Фортуны меняется настроение, созревает некий каприз, и вы мучительно больно обрушиваетесь вниз с возведённого пьедестала, да так стремительно, что опережаете собственный ужасающий взвизг и не можете оправиться весьма долго, до того счастливого момента, когда взбалмошная леди не соблаговолит вновь повернуться к вам лицом.

Примерно так рассуждал Тоби Уэббер, рассматривая рыдающую Кейт Симмонс, юную сексапильную красотку с многообещающей улыбкой и умопомрачительным бюстом, размер которого, как полагал Тоби, был обратно пропорционален количеству мозговых извилин в очаровательной головке Кейт. Леди Симмонс сейчас нельзя было назвать красивой: пурпурно-кирпичного цвета, опухшее от слёз лицо, безнадежно погубленный дневной макияж, как символ безутешного горя. Произошло нечто до такой степени трагическое, что Кейт просто не могла перенести этого спокойно.

Истинный джентльмен – это не просто представитель высокого сословия. И не только хорошо воспитанный, уравновешенный и невозмутимый человек. Истинный джентльмен всегда придерживается определённых правил поведения: «кодекса джентльмена». Итак, «истинный джентльмен» должен:

- Никогда не перебивать того, кто говорит;
- Никогда не пытаться доказать свою правоту с помощью повышения голоса или высокомерия;
- Поменьше внимания уделять рассказам о собственной персоне;
- Никогда не пытаться показать свое превосходство в интеллектуальном плане, быть скромным;
- Уметь с интересом слушать собеседника;
- Вести дискуссию спокойно, кратко и по делу;
- Никогда не делать замечаний;
- Никогда не слушать разговор других лиц, не предназначенный для его ушей.
- Избегать педантизма, хвастовства, сплетен, излишней глубины и утонченности, слишком частого употребления всевозможных цитат и мыслей великих, наконец, избегать роли шута, «смешного человека» для вечеринок.

Тоби Уэббера можно было без преувеличения назвать истинным джентльменом. Сэр Тобиас Джеймс Гектор Уэббер, очаровательный шатен двадцати пяти лет, совершенно элегантный от завитка волос до кончика ботинка, почитал себя образцом классического британского аристократа, наследника рыцарских традиций. Истинный джентльмен должен любить женщин и всегда обладать известной галантностью по отношению к даме. Даже если единственная слезинка скатилась по щеке леди – его обязанность проявить живое участие и всяческую поддержку.

– Что произошло, Кэти, дорогая? – спросил Тоби, и Кейт поведала ему страшную историю, приключившуюся с ней.

История и впрямь была весьма трагической и безнадежно драматичной. Некий молодой человек познакомился с ней, целый месяц они встречались, и Кейт всерьёз собиралась связать с ним всю последующую жизнь. Дело неудержимо двигалось к свадьбе, как вдруг Кейт с ужа-

сом узнала, что ее обожатель вовсе не является настоящим англичанином, то есть представителем знатного рода, аристократом, украшением общества, состоятельным человеком, щедрым и обладающим определёнными средствами, чтобы не зарабатывать себе на жизнь.

– Я не могу пережить всей тяжести случившегося, Тоби, он оказался ничтожеством, мерзавцем, низким подлецом! Нищий бродяга, второсортный актёршкa из Манчестера! Простой горожанин, самого низшего сословия! Разливался соловьём, обещал в кругосветное путешествие через месяц, «Роллс-Ройс» подарить, бриллианты... Оказалось, что квартира, в которой мы встречались, не его, а директора театра, который был в отъезде. А говорил, что мне её подарит. И авто, на котором катал меня, тоже директорское.

От душевного расстройства Кейт лечилась хорошей порцией виски, бокал стоял рядом. Стерев надушенным платочком очередную порцию слёз, она сделала изрядный глоток и вновь разрыдалась, весьма развратно обнажив при этом декольте.

Трагедия действительно была мирового масштаба, способная потрясти человека гораздо менее впечатлительного, чем Тоби. Давясь улыбкой, он участливо наклонил голову, явив Кейт свой великолепно напомаженный пробор, и поинтересовался.

– Ну а как человек, он хороший хоть?

Слова, которыми Кейт охарактеризовала своего бывшего избранника, могли прозвучать из уст пьяного докера, либо вконец опустившейся попрошайки трущоб Сохо, но никак не чопорной английской леди, и должны были весьма и весьма оскорбить слух истинного джентльмена. В переводе же на благопристойный язык, фраза намекала на недопустимость любовных отношений с дамами без серьёзных финансовых обязательств. В оригинале же прозвучало: «Да по херу, какой он человек, он всё это время фактически бесплатно меня имел!».

Если бы сэр Тобиас Джеймс Гектор Уэббер был истинным джентльменом, он, конечно, посочувствовал бы несчастной леди, проявив известное участие и всячески осудив коварнейшего влюбленного мерзавца «фактически бесплатно имевшего» красотку Кейт. И своим участием он, возможно, растопил бы ледок отчуждения, и Кейт, воодушевленная галантностью и тактом Тобиаса Уэббера, прониклась бы к нему, в свою очередь, благодарностью и даже чем-то похожим на любовь. И в пылу этой благодарности сумела бы, повинувшись безотчетно возникшему порыву, нарушить данное некоторое время назад слово хранить строжайшее молчание. И поведала бы сэру Тобиасу Джеймсу Гектору Уэбберу, что им усердно интересовались двое весьма хмурых субъектов из контрразведки, долго расспрашивали её и выпытывали всё, что она могла сообщить о Тоби. Субъекты джентльменами не являлись ни в коей мере, от них пахло дешёвым одеколоном и казённым хамством простолюдинов. Безвкусно и плохо пошитые костюмы, хоть и из дорогого сукна, постоянное поигрывание усами и поправляющие узел галстука движения пальцев не могли придать им привлекательности в глазах Кейт Симмонс. Но и сэр Тобиас Джеймс Гектор Уэббер, как оказалось, лишь считал себя джентльменом, на самом деле таковым не являясь ни в коей мере, потому одарив Кейт Симмонс раздвающе-презрительным взглядом, уточнил с изрядной долей насмешки.

– А вам, Кейт, вероятно, с мужчинами привычнее за деньги?

Исключительно довольный собственным остроумием и глубоко презирая безмозглую куклу Симмонс, Тоби повернулся спиной и прошёл в свой кабинет.

Если бы взглядом можно было убивать, Тоби Уэббер распался бы на молекулы, либо прямо здесь сгорел заживо, а может, растёкся по полу бесформенной субстанцией. Но пронзивший его спину уничтожительный взгляд Кейт не мог причинить ему несколько вреда, ибо даже спина Тоби, казалось, смеётся над трагедией смазливой дурочки, а настроение Уэббера сделалось просто великолепным. Он уже предвкушал, с каким солёным подтекстом преподнесёт приятелям сию пикантную новость: «Сидит, губки надула. Со мной не разговаривает. Обиделась, наверное...».

Фортуна – дама весьма своенравная и с выкрутасами. Её мнимому любимцу кажется, что он всегда в фаворе, и никаких неприятностей произойти с ним не может ни в коей мере. Остроумие Тоби капризной вершительнице судеб почему-то пришлось не по нраву, и будущее сэра Уэббера в ближайшее время должно было изрядно перемениться. И, отнюдь, не в лучшую сторону.

Глава 17

Митька Захаров, разумеется, исчез, словно здесь его никогда и не было, и всякое упоминание о его возможном присутствии расценивалось бы фантазией, галлюцинацией и плодом воспалённого воображения. По царившему беспорядку, хаосу и бедламу делалось ясным: собирались второпях, весь нехитрый скарб бросили, взяв только самое необходимое.

Северианов исчезновению инвалида германской войны вовсе не удивился, жилище осмотрел мельком, ибо главное в таком деле – не терять темп, на ходу бросил Жоржу: – За девушкой присматривай, – и вся троица споро устремилась к жилищу Фомы Фомича Нистратова.

Игнорируя запоры, Северианов легко вскрыл входную дверь, проник внутрь и со злорадным облегчением вздохнул: хозяин был дома. Фома Фомич раскатисто храпел, выводя рулады, словно духовой оркестр. Спал сном праведника, никакой вины за собой не чувствуя. Не зажигая света, Северианов на ощупь извлек из-под подушки миниатюрный бельгийский браунинг М1906, спрятал в карман, упёр ствол нагана в лоб бывшего жандармского офицера, прошептал на ухо:

– Просыпайся, любезный. Только без глупостей – застрелю!

Фома Фомич моментально перестал храпеть, словно и не спал вовсе, Северианов продолжил:

– Быстро, чётко рассказывай, какие дела у тебя с бандой Петра Кузьмича Топчина? Врать не рекомендуется!

Фома Фомич положения не изменил, сесть на кровати не пытался, произнёс глухо:

– Кто спрашивает?

– Кому положено! – снова прошептал почти в самое ухо Северианов. – Решай сам: добром скажешь, либо сделаю тебе очень больно.

Пробуждение от приставленного к голове револьверного ствола и зловещего шёпота – событие в высшей степени экстраординарное, способное вызвать кратковременный стресс, и рядового обывателя не просто приведёт в ужас, но и с большой вероятностью сделает до конца дней заикой или, говоря научным языком, разовьёт речевую патологию. Однако старый жандарм, не смотря на возраст, не испугался совершенно, словно подобное было делом привычным, обыденным.

– Никакого Топчина не знаю, зажгите свет!

– Не понимаешь ты, видимо, всей ситуации, – вздохнул Северианов и дальше говорил, уже не шепча, обычным голосом. – Хорошо, поясню из уважения к твоей храбрости: банды Топчина больше нет, все уничтожены, если не хочешь разделить их участь – говори!

Однако Фома Фомич на деле оказался вовсе не из пугливых, долгая жизнь офицера корпуса жандармов преподносила немало сюрпризов, и господин Нистратов был готов к любым, даже к самым страшным неожиданностям.

– Повторяю, никакого Топчина не знаю! Ежели ты такой отпетый, что греха на душу за невинно убиенного не побоишься взять – стреляй!

Северианов расхохотался громко и весело.

– Молодцом, Фома Фомич, вот что значит, старая гвардия, уважаю! Всегда приятно иметь дело с достойным противником. Только напрасно ты насчёт невинной души тут песни поёшь, право слово! Взгляни, освежи память.

Вспыхнула керосинка, в её тусклом свете Жорж Белоносов и Настя казались бестелесными привидениями.

– Ты этих двоих сегодня на смерть отправил, так что не обессудь. Барышню и офицера контрразведки! – Северианов сделал акцент на последнем слове, как бы подчеркивая

тяжесть преступления Нистратова, посмеявшегося покуситься на столь грозную и могущественную службу. – Спрашиваю в последний раз, какие у тебя дела с топчинскими бандитами? Если есть, что сказать – говори, нет – твори молитву! – штабс-капитан демонстративно и даже несколько театрально взвёл курок нагана.

– Что за чушь! – чуть возвысил голос Фома Фомич. – Какая еще банда? Барышня с господином прапорщиком были здесь сегодня, не отрицаю, но что касается смерти... Что-то путаете Вы, любезный!

– Как угодно! – Северианов нажал спусковой крючок. В тесной спальном комнате револьверный выстрел громыхнул ушераздирающе. Насте в который раз за сегодня сделалось дурно. Только что человек был жив, говорил, дышал, надеялся... К тому же лежащий в кровати старик в ночной рубашке и кальсонах вид имел совершенно незащитный, в отличие от головорезов Петра Кузьмича Топчина. Насте заложило уши, она увидела, как брызнуло пламя из револьверного ствола в лицо Фомы Фомича, потом резкость и чёткость пропали, взгляд поплыл, и Настя вновь лишилась сознания.

Северианов стрелял впритирку. Пуля аккуратно сорвала лоскут кожи на лысом темени, раскалённые пороховые газы при выстреле с близкой дистанции обожгли лоб, а зёрна пороха добавили «татуировку порошинками». В целом – эффект весьма впечатляющий – на короткое время Фома Фомич полностью оглох и выпал из реальности, потеряв ориентацию. Держаться героем под дулом револьвера – в высокой степени похвально, однако после неожиданного выстрела в голову некоторые, случалось, оконфуживались до крайности.

Фома Фомич был весьма крепок и духом, и телом: и сердце вытерпело, не остановилось, и других непотребств и постыдностей не случилось, однако и у любой крепости существует свой предел прочности. Увидев, как дуло нагана опускается чуть ниже, аккуратно, к переносице, а курок медленно отходит назад и становится на боевой взвод, он не выдержал, сдался. Заорал, заблажил:

– Стой, не стреляй! Все скажу, как на исповеди!

– Слушаю.

– Пусть они уйдут, говорить один на один буду!

Возможно, он был прав. Возможно. О четырёх глазах секреты и тайны выбалтывать легче, да и ненужной информации чужие уши не услышат. Только у них сейчас не доверительная душевная беседа агента с информатором и даже не совсем допрос. Подполковник Вешнивецкий называл это «жёстким потрошением в боевых условиях», когда более потребно думать о сохранении жизни, чем о количестве слушателей, сокрытии маленьких тайн либо других несущественных деталях. К тому же, оставлять Жоржа и Веломанскую одних в состоянии близком к панике категорически не рекомендовалось.

– Не о том печалишься, Фома Фомич. Торговаться не будем! О вечном размышляй, а не о незначительных глупостях, – Северианов смотрел пронизывающим ледяным взглядом, и Нистратов заговорил. Он говорил долго и обстоятельно, он, вообще, так много и без утайки никогда и никому не исповедовался.

За долгие годы служения в Отдельном корпусе жандармов Фома Фомич Нистратов обзавёлся весьма специфическими привычками: всё про всех знать и всё подмечать. Ему доподлинно были известны такие мелочи в жизни многих жителей города, как весьма почтенных, так и низшего сословия, о которых не были осведомлены даже самые близкие их родственники. Он знал, казалось, обо всех всё: о разногласиях или, наоборот, единодушии, о тайных и скверных привычках, странных обыкновениях, сокровенных помыслах и желаниях. Ну и естественно, кто, с кем, когда и по какому поводу. Когда в городе установилась Советская власть, к Фоме Фомичу пожаловал в гости председатель Новоелизаветинской ЧК Яков Ионович Ордынский и, не разводя антимоний, сразу предложил невесёлую альтернативу:

– Мужчина Вы, Фома Фомич, пожилой, степенный, я думаю, желаете спокойной и тихой старости, дожить, так сказать, отпущенные Вам годы без потрясений и катаклизмов. Потому либо будете негласно доносить обо всех интересующих нас контрреволюционных происках, либо милости прошу к нам, но уже в другом амплуа: осколок царского режима, всецело и с усердием преследовавший революционеров-подпольщиков, а значит, злейший враг Советской власти. Выбирайте...

Фома Фомич по началу, естественно, ерепенился и кочевряжился, но разговор у Ордынского оказался коротким: так Фома Фомич попал в ЧК. Отсидев неделю и осознав грозящую ему весьма незавидную участь, господин Нистратов, ничтоже сумняшеся, дал полное согласие на негласное сотрудничество с Новоелизаветинской ЧК, после чего был отпущен восвояси и зажил жизнью вроде бы прежней, но с недвояким внутренним страхом. А через непродолжительное время случилось трагическое событие, весьма порадовавшее бывшего офицера Отдельного корпуса жандармов, а ныне тайного осведомителя Новоелизаветинской Чрезвычайной комиссии: Ордынский погиб. Неделю Фома Фомич ожидал нового визитёра из ЧК, но всё было тихо, никто его не тревожил. Казалось, новые хозяева о господине Нистратове начисто позабыли, хотя сам Фома Фомич доподлинно знал, что в делах разведки и политического сыска такого не бывает, но уж очень хотелось верить, что на этот раз пронесло. Теплилась потаённая, но весьма привлекательная мысль, что Ордынский попросту не успел или не счёл нужным сообщить коллегам-чекистам о новоприобретённом агенте, бывшем жандармском офицере. В гибели председателя ЧК, кстати, имелось множество странностей, но Фома Фомич заставлял себя об этом не думать, надеялся, что скинул ненавистные чекистские оковы.

Подпоручик Иван Тихонович Василевский был еще сопливым Ванькой, когда Фома Фомич службу заканчивал. Стройный, как гитарная струна, белокурый, с изящно закрученными и поддерживаемыми в таком положении фиксатуаром усиками, Иван Тихонович имел натуру весьма утончённую и возвышенную, обожал и постоянно декламировал вслух стихотворные сочинения Михаила Юрьевича Лермонтова, Константина Николаевича Батюшкова, а особенно, Дениса Васильевича Давыдова. Томные дамы полусвета млели в обществе красавца подпоручика и мило краснели, когда, оставшись наедине, он нашёптывал им весьма фривольные стишата Баркова. Успех у дам Василевский имел головокружительный, потому среди своих получил иронически-пренебрежительную кличку «Красавец». Ибо, несмотря на весьма авантажную внешность и манеры, жандармским сыщиком Василевский был, откровенно говоря, так себе, ни рыба, ни мясо, талантом не блистал и никакого серьёзного дела выполнить был не в состоянии. А уж скромного жалования на плотские утехи и развлечения не хватало отчаянно, потому во внеслужбное время Иван Тихонович начал втихую промышлять разбоем. Фома Фомич об этом догадывался, но предпочёл в то время благоразумно промолчать, а тут случилась революция, жандармская служба стала более не востребована, Василевский окончательно переметнулся на неблагодарную, но весьма прибыльную стезю бандитизма, перестав корчить из себя приличного господина. Поначалу деньги текли рекой, «Красавец» наводил в городе изрядный ужас, но удача очень быстро отвернулась от бывшего жандармского подпоручика. В коротком скоротечном бою банду необыкновенно изящного и жестокого мерзавца сотрудники Фролова полностью уничтожили, сам «Красавец» сдаваться не пожелал и вознамерился отстреливаться до последнего патрона, только на этот раз фарт его весь вышел, и Василевского милиционеры наспиговали пулями, словно рождественского гуся яблоками. Сгубила Василевского любовница, выдавшая местоположение своего обожателя уголовно-розыскной милиции из ревности. Это было доподлинно известно, некоторые даже жалели бывшего подпоручика и его бандитских сообщников так глупо сгинувших из-за юбки, и только Ордынский знал, что выдал «Красавца» Фома Фомич в качестве подтверждения искренности своего сотрудничества с ЧК. А с гибелью Ордынского и вовсе концов не сыскать было. Так поначалу Фома Фомич считал. Совесть его не мучила совершенно, он уже давно забыл о таком атави-

стическом комплексе, но произошло непредвиденное. Один из подручных «Красавца», Пётр Кузьмич Топчин, серьёзно раненый при налёте, отлёживался у знакомой барышни и во время ликвидации банды находился совсем в другом месте. Потому выжил, уцелел и, оправившись от ранений, появился в городе. Поначалу вел себя тихо, никакой активности не выказывал и ничем себя не проявлял, но с падением Советской власти решил о своём существовании напомнить. Подобрал недобитых Фроловскими сыщиками компаньонов и, пользуясь временной неразберихой, весьма вольготно обустроился в Гусилище. Ещё более наглый и самоуверенный, чем Василевский, Топчин, вообще, возомнил себя удельным князем и государем всея Гусилища, творил несусветное и весьма кровавое, но не в этом было страшное. Очень уж допытывался Пётр Кузьмич, «какая сука „Красавца“ лягавым выдала», и хотя Фома Фомич уверен был, что следов не осталось, однако в полнейшей неуязвимости себя не чувствовал. Страшила возможность того, что Топчин каким-то невероятным образом узнает о доносите́льстве Фомы Фомича.

– Не было у меня никаких дел с Топчиным и быть не могло! – сказал господин Нистратов, сидя в кровати и обливаясь нервическим потом. Сказал эмоционально и даже с некоторым отчаянием, и Северианов был склонен ему поверить. Сейчас Фома Фомич совсем не походил на сытого и довольного жизнью Кота Котофеевича, а более напоминал шкодливо-виноватого котище, нагадившего в хозяйскую обувь.

– Ладно, положим, не врѣшь, – покачал дулом нагана возле кончика моржовых усов бывшего жандарма Северианов. – Про Захарова говори. Каким образом девушка и господин прапорщик у Топчина в плену оказались, если не твоя вина, значит Захарова? Только умоляю, Фома Фомич, давай, как на духу, всё как было, чего уж теперь...

– Про то господину прапорщику с девицей поболее моего известно, – начал было Нистратов – Северианов выстрелил мгновенно, без каких-либо угроз и предупреждений. Пуля, как и прежде, прошла впритирку, заставив Нистратова тут же вжать голову в плечи и прекратить всяческие возражения и пререкания.

– Я грозить понапрасну не намерен, Фома Фомич. Очень я сегодня перенервничал, могу и застрелить. И поверь, сожалеть не буду нисколько. Княжну Веломанскую и Георгия Антониновича чуть жизни не лишили не без твоей помощи, да ещё ты, оказывается, с ЧК сотрудничал... Ай-яй-яй, Фома Фомич, нехорошо!

При всей строгости и серьёзности положения, Настя вдруг почувствовала некую водевильную фальшивость ситуации и даже лёгкую антипатию к Северианову. Жалкое положение допрашиваемого тому способствовало или жёсткое давление штабс-капитана, только зашевелилось внутри какое-то отторжение, неприятно-брезгливый привкус.

На сей раз Фома Фомич хотя и испугался выстрела, но ответил твёрдо и даже с неким вызовом в голосе:

– Можете меня застрелить, господин хороший, воля, конечно, Ваша, только не много пользы от этого поимеете. Вы бы барышню увели, не стоит ей слушать.

– Что так?

– Она жениха разыскивает, я могу что-либо сказать, чего ей знать не желательно, потом поздно будет.

– Я никуда не пойду! – твёрдо и даже немного истерично бросила Настя. – Про Виктора я должна знать всё, говорите, я вытерплю!

– Что ж, как угодно, – вяло пожал плечами Фома Фомич. – Моё дело телячье: предупредил, а там хоть трава не расти.

Виктор Нежданов разыскал его, явился совершенно неожиданно, очень интересовался родственником, Петром Еремеевым, уехавшим давным-давно искать счастья и лёгкой доли в Москву. Еремеев поначалу письмо прислал: устроился вроде бы неплохо, от военной службы освободили, как сыр в масле катается. Это была единственная весточка, Фома Фомич и думать-

то забыл о дальнем родственнике и визиту Виктора Нежданова весьма удивился. Виктор настаивал, уверял, что Еремеев в городе, либо вот-вот прибудет, да не один, а с нужным ему, Нежданову, человеком. Это было весьма странно и даже для старого жандарма подозрительно, отослал Нистратов нежданного гостя к еремеевскому дружку Митьке и выбросил странного визитёра из памяти. Тем более, что Захаров тоже молчал.

Только как-то поздним вечером тайно явился к Фоме Фомичу сам новый председатель Новоелизаветинской ЧК Антон Семёнович Житин, назначенный вместо погибшего Ордынского, и долго расспрашивал о странном визитёре. Интересовался буквально всем: самим Виктором Неждановым, его расспросами о Еремееве, а также очень хотел узнать, что за человек должен был приехать с Еремеевым.

– В то, что ты, Фома Фомич, не знаешь ничего, я не верю, – сказал Житин. – Ты лис старый, хитрый, всё про всех тебе ведомо, потому говори...

Сколь ни клялся Нистратов, Житин не верил, каким-то чудом удалось бывшему жандарму убедить председателя ЧК, тот сильно попенял за незнание и приказал строго-настрого выяснить и расспросить со всей возможной тщательностью, но тайно, «под благовидным предлогом» всё возможное о Нежданове и всем с ним связанном. Это было совсем странно: между председателем ЧК и каким-то Неждановым пропасть огромная. Однако больше всего Фому Фомича интересовало, знает ли Житин о его тайном соглашении с Ордынским, или действует по собственной инициативе, безотносительно к давнему сотрудничеству Нистратова с ЧК.

Нежданов между тем появлялся в Новоелизаветинске совершенно в различных местах и вёл весьма странные расспросы, из коих выходило, что должна к нему приехать невеста, или уже приехала, он страстно её разыскивает и просит оказать в том всяческое вспомоществование.

– И это явно не Вы, моя милая, – с некоторым сочувствием сказал Фома Фомич Насте. Та барышня, как я понял, должна была с Петром Еремеевым в Новоелизаветинск прибыть и весьма задолго до Вашего появления. Увы, непостоянен Ваш жених, многим дамам головы вскружил, кого любит – про то ему одному ведомо.

– А что Вы говорили про Ольгу Ремберг? – спросила Настя. – Это Ваши догадки, или что-то более существенное?

Фома Фомич по-отечески посмотрел на Настю.

– Видел их как-то раз на улице. Прогуливаются, значит, дефилируют вниз по Старопочтенской, за руки держатся, воркуют, аки голубки. Идиллическая картина, прослезиться впору.

Настя до боли закусила губу, кулачки сжались так, что побелели пальцы. Жорж с сожалением и симпатией положил ей руку на запястье, ощутив нервическую дрожь, а Северианов бросил на княжну Веломанскую взгляд изрядно внимательный и оценивающий, однако тут же повернулся к Нистратову.

– Всё это весьма трогательно, Фома Фомич, только каким образом рассказ о женихе госпожи Веломанской с бандой Топчина и Дмитрием Захаровым связан? Не надо в сторону уводить, про Захарова поподробнее, уж будь любезен.

– А что про Захарова? – Фома Фомич изобразил на лице непонимание и даже некоторое недоумение. – Захаров – пустышка, тьфу, ничтожество. Инвалид войны, скрипа тележного опасается, к делу никоим образом.

– Так-таки и никаким? – нехорошо прищурился Северианов. – Ой, не надо шуточки шутить, почтеннейший.

– Да какие шуточки! – возмутился Фома Фомич, словно уличённый в неприличном поведении в почтенном обществе. – Пустяковый и жалчайший человечешко, тля, говорить не о чём.

– Видишь, как получается, Фома Фомич. Ты совершенно не при делах, Митька Захаров – ничтожество замухрышистое, к происшедшему никаким боком. Кто же банду навёл? А?

Фома Фомич физически чувствовал исходившую от Северианов угрозу, молчал.

– Плохо дело, Фома Фомич, как поступать будем? – спросил Северианов. – Думай быстрее, вспоминай! Ты про всех всё знаешь, всё в Новоелизаветинске ведаешь, неужто мыслишек никаких в голове нет?

Фома Фомич устал. Допрос продолжался уже более часа, для того, чтобы лгать и изворачиваться силы потребны, а их у господина Нистратова уже не осталось, он отвечал вяло и равнодушно, не прилагая усилий для увливания, не ловчил. Об участи своей, дальнейшем существовании Фома Фомич уже не думал, даже предполагать не пытался и весьма походил на лимон, из которого выжали все соки.

– Только предположить могу.

– Валяй, предполагавай.

– Митькин приятель, Иван Зельцов, из дому ушёл, в Гусилище перебрался. Возможно, у Топчина в банде обретается. Шпана отпетая, а Митьку жалел, пьянствовать к нему приходил. Налузгаются, аки черти, до зелёных соплей, Митька себя человеком и почувствует. Есть, мол, на свете ещё всяческие приятности и удовольствия.

– И?

– Возможно, Зельцов каким-то боком замешан.

Северианов кивнул.

– Ладно, примем за рабочую версию, ибо на правду в известной, разумеется, степени похоже. Зельцов, кстати, уже никаким боком здесь не замешан, он убит. Вместе с остальными бандитами. Не далее, как несколько часов назад.

Северианов поднялся, спрятал револьвер.

– Допустим, Фома Фомич, что на сей раз я тебе поверил. Что с тобой дальше будет – не мне решать. Живи, как жил до сегодняшнего дня, только убедительно прошу: не пытайся скрыться, исчезнуть из города. Далеко вряд ли уйдёшь, разыщем, да и староват ты для дальних странствий. Дома-то всякого лучше, чем в неизвестности. Засим прощаемся, можешь возвращаться обратно, в объятия Морфея. Топчинских людишек не опасайся – нет их больше.

– Вы в самом деле смогли бы застрелить его? – первым делом задала Настя мучивший её вопрос, когда они вышли.

– Поведи он себя неправильно – да.

– А что значит – неправильно?

– Например, попробовал бы поиграть с нами. Заболтать, отвлечь внимание – а потом неожиданно, исподтишка открыть огонь. На поражение. Вам жалко Фому Фомича потому, что застали его в момент слабости, в состоянии испуга, когда он кажется жалким и беспомощным. Бандитов Вам не жаль? А они, поверьте, гораздо менее опасны, чем господин Нистратов. Были...

Настя смутилась.

– Противник может предстать в разных облициях. И вовсе не обязательно выглядеть отвратительным негодяем и кровавым монстром. Он может явиться Вам бессильным стариком или очаровательным юным красавцем, либо красавицей. Но от этого противник не перестаёт быть противником – и здесь в дело вступает правило: либо ты – либо тебя. Волчьи законы, увы!

– По-другому никак нельзя?

– Сколько не выжимай лимон – яблочного сока из него не получишь.

– Ого! Да Вы философ! – воскликнула Настя, и по злой иронии, яростной твердости в голосе, Северианов понял, что княжна Веломанская постепенно возвращается к жизни.

– Поверьте, «потрошение» Фомы Фомича мне вовсе не доставляет удовольствия. Но иногда для спасения жизней вещь просто необходимая. Я весьма сожалею, что подверг испытаниям Вашу психику.

– Если бы он молчал – Вы застрелили бы его? – продолжала настаивать Настя. Северианов покачал головой.

– Я не воюю с безоружными и беспомощными. Не так воспитан и не так обучен. Ибо если начать стрелять в безоружных, мирных, людей заведомо слабее тебя – очень скоро офицер, солдат, защитник Отечества превращается в бандита, преступника.

– Но Вы отпустили Топчина, главаря! Он тоже невиновен?

Северианов вздохнул тяжело. Так тяжело, что Настя вдруг почувствовала некий уют и даже страх перед штабс-капитаном.

– Я дал ему слово! – тихо, но жёстко сказал Северианов. – Слово, что отпущу, если он расскажет правду. А нарушать данное слово, даже врагу данное – это совсем скверно.

– Но ведь он – бандит, для него-то слово ничего не стоит, он может предпринять попытку убить Вас! – в голосе Насти прозвучало недоумение. Северианов усмехнулся, но усмешка у штабс-капитана получилась такой угрожающей, что девушка поежилась.

– Я знаю.

– Что будет с Нистратовым?

– А что с ним может быть? Тёртый, прожжённый калач, выкрутится. В его виновности в ваших злоключениях я не уверен, возможно, действительно, ошибка произошла, случайность, бандиты посчитали вас за других, преувеличили исходившую от вас опасность.

– Как так?

– Решили, что контрразведка по их банде работу ведет. Перепугали вы их чересчур. В жизни много странностей случается.

– А Захаров?

– Сбежал. Шутка ли, после визита к нему исчезли офицер контрразведки и дама, по его представлениям, тоже наш сотрудник. Кругом виноват, как не крути. Паника, ужас, смятение. Как только вас забрали – так и драпанул. Ничего, деваться ему некуда, побегаёт несколько дней – и, скорее всего, вернётся. Побеседовать с ним, конечно, необходимо, только сильно сомневаюсь, что ему известно что-либо важное, достойное внимания.

Глава 18

Гранитный борт парусника-фонтана у выхода с пассажирской пристани реки Вори совершенно справедливо можно считать началом улицы Белокаменной выемки, которая тесной булыжной магистралью пересекает чахлый речной парк, круто поднимается вверх по набережной и вливается в многообразие Новоелизаветинских проспектов, улиц, бульваров и переулков.

Постороннему человеку название не скажет ничего, к Москве Белокаменной отношения оно, практически, не имеет, история вполне прозаична, хоть и известна далеко не каждому новоелизаветинцу. Еще с 1660 года здесь добывали удобный во всех отношениях белый известняк, так полюбившийся строителям различных соборов и зодчим. Его залежи находились тут повсеместно, что позволяло обходиться без дальних трудоемких перевозок, и весьма близко к поверхности: «аршин на пять вглубь». Добыча камня, а также извести, которая шла в раствор для кладки, не требовала изрядных затрат и была сравнительно лёгкой: каменный слой «подбивали просеками», поднимали ломami и разбивали молотами и железными клиньями на отдельные блоки. Механизация труда практически отсутствовала, а камень великолепно поддавался обработке и был весьма устойчив к воздействиям воды и ветра, идеально сохраняя всевозможные узоры.

Однако, к началу девятнадцатого века, с развитием промышленности, а главным образом, взрывного способа разработки залежей камня, добыча известняка быстро пошла на убыль. Гранит либо мрамор, добытые взрывом на Урале, Украине или Кавказе и привезённые по железной дороге, зачастую оказывались выгодней белого известняка. Потому знаменитые некогда белокаменные карьеры на реке Воре прекратили свое существование, и лишь название улицы напоминало о былом промысле.

В этот поздний час на дорожках речного парка можно было встретить разве что редких Ромео и Джульетт. Слегка смущённым и весьма недовольным взглядом провожали они пожилого господина, совершавшего вечерний моцион для профилактики застойных явлений в суставах и ослабления костей, ибо сей господин мешал романтическому уединению и в высшей степени беспардонным образом отвлекал от страстных поцелуев и лобзаний.

Походка мужчины может многое рассказать о его душе, воле, складе характера, настроении. Наполнена ли его жизнь событиями, романтическими приключениями, или, наоборот, протекает однообразно и неинтересно. Давно подмечено, что сильный и целеустремлённый человек делает быстрые, но мелкие шаги, и вообще, в своей жизни он всё делает быстро. Быстро принимает решение, быстро делает изрядные успехи в карьере, иногда так же быстро и стремительно обрушивается с занятых высот. При этом он привык больше заботиться о себе, чем об окружающих, иногда даже о близких ему людях. И человек он при всём этом, как правило, педантичный, малообщительный и придиричивый.

Ритмичные шаги с небольшим раскачиванием вперёд-назад могут сказать о самоуверенности мужчины, нарушение же ритмичности, в свою очередь, говорит о взволнованности и некоторой даже боязливости.

Люди творческие, сентиментально-романтические имеют привычку ходить погружёнными в себя, в собственные мысли и суждения; и потому их походка медленна и размеренна. К сожалению, медленный и длинный шаг имеют и недовольные сложившимися обстоятельствами, равнодушные к окружающим мужчины.

Вялая «шаркающая» походка свидетельствует о лени, отсутствии волевых усилий и, по большому счёту, цели в жизни.

Степенная походка присуща господам спокойным и уравновешенным, не терпящим ненужных эмоций и необдуманных поступков, а также не совсем понимающим шуток и прочего юмора.

Демонстративно широкая и медленная походка бывает у человека, желающего выставиться на показ, продемонстрировать свою силу. А вот «театральная»: гордая, с коротким шагом при достаточно медленном темпе, – выдает человека высокомерного и весьма самолюбленного.

Бездельники и люди бесцеремонные, не признающие норм этикета, ходят звонким шагом с энергичными ударами каблука, привлекая своим клоунством к себе излишнее и совершенно ненужное внимание.

Мужчина с лёгкой танцующей походкой забывчивый и несерьёзный.

Сильно машет руками? Извольте – его характер искренний и дружелюбный, а чувство юмора гораздо изрядней, чем у господина сутулящегося, с тяжёлой походкой и неподвижно висящими руками. Что, в свою очередь, говорит о скучном и безвольном характере.

Внимательно разглядывая походку неспешно прогуливающегося по улице Белокаменной выемки сгорбленного и чрезмерно полного мужчины, слегка приволакивающего правую ногу, можно было с большой долей уверенности заключить, что господин сей уже вышел из последней степени молодости, но по-прежнему до женского полу весьма охоч. И что самое странное и даже весьма обидное для юных прожигателей жизни, у дам до сих пор пользуется изрядным успехом. Ссутулившийся ловелас давно отпраздновал полувековой рубеж и возраст его приближался к той отметке, когда зрелость неудержимо перетекает в старость. Большие очки в грубой оправе придавали лицу выражение лёгкой беспомощности и рабского слабодушия, обвисшие усы делали подбородок безвольным и дряблым, не смотря на маскирующие усилия чеховской клиновидной бородки. Если приблизиться к мужчине на расстояние винного перегара, тот сей специфический аромат выдавал пагубное пристрастие и невоздержанность в употреблении праздничных напитков. Одет мужчина был в старую, изрядно поношенную пиджачную пару, зато на ногах щёгольски поблёскивали лакированные штиблеты, а бритую наголо макушку украшал жёсткой формы котелок из фетра с загнутыми вверх краями, придавая фигуре немного классической строгости и даже шику. Завершала образ провинциального франта некогда весьма элегантная прогулочная трость с бронзовой рукоятью в виде женщины-стрекозы и шафтом эбенового дерева.

И не смотря на то, что этого господина можно было с полнейшей уверенностью назвать изрядно потрёпанным жизнью ловеласом, всё же в его фигуре неумолимо присутствовала некая мужская сила, которую дамы чувствуют подсознательно, и которая заставляет молоденьких барышень влюбляться и даже выходить замуж за людей гораздо более старшего возраста, нежели они сами.

Итак, поднявшись вверх по улице Белокаменной выемки и свернув в Болдыревский переулок, пожилой господин сразу оказался перед скромным фасадом доходного дома купца Свешникова, выстроенного в классическом стиле с чёткими монументальными формами, практически лишенными декора. Простоявший более полувека, дом помнил ещё времена, когда на первом этаже помещалось «Общество любителей художеств», и в этом месте собирались тогдашние представители искусства и литературы. По периметру зала расставлялись мольберты, в центре на небольшом возвышении ставилась натура, как правило, совершенно обнажённая, и местные рисовальщики начинали с усердным старанием работать кистью, либо углём, стараясь захватить движение, либо с анатомической тщательностью передать объёмность различных групп мышц. При этом литераторы любили продекламировать вслух стихи, как правило, собственного сочинения; а гости, мнившие себя певцами, – исполнить что-нибудь эдакое под аккомпанемент находившегося здесь же рояля. Заканчивалось сие собрание обычно скромной закуской. Все чинно-степенно, никакого непотребства.

Однако разорившийся к концу века купец Свешников вынужден был дом продать, и вместо «Общества любителей художеств» здесь появился второсортный бордель. Контингент жриц продажной любви был весьма однообразен и состоял, в основном, из деревенских барышень, подавшихся в город в поисках лучшей жизни. Сюда любили захаживать опустившиеся представители городской богемы, мелкие служащие, чиновники. Словно ощущая произошедшие с ним перемены, дом неуловимо поплёк и пожелтел, утратив свой напыщенно-праздничный вид; однако непотребство просуществовало недолго: при Советах бордель стремительно закрыли, и на его месте возник некий очаг культуры, клуб-кафе для революционной молодежи и студентов. На рояле теперь представители победившего пролетариата с чувством наяривали «Эх яблочко, куда котишься?!..», а свежеиспеченные революционные поэты читали стихи невообразимой ажитации и запредельного гротеска. Разумеется, с освобождением города от большевиков, очаг культуры как-то сам собой поменял направленность, и теперь здесь собиралась публика марксистскими идеями не обременённая, совсем даже наоборот, настроенная решительно контрреволюционно. Ещё здесь можно было неплохо закусить щами с головизной, сибирскими пельменями, расстегаями с печенью, картошкой и огурцами, а также – настоящим «вельможим студнем», упругим, как резина, и прозрачным, как сказочный янтарь, который подавали с брусничным соусом под водку-хреновку, и который придавал трапезе некий чарующий шарм и обольстительность.

Присев за стол в самом углу, пожилой провинциальный франт испросил рюмку водки, естественно, «студню», пирогов с картошкой и чай. В ленивом ожидании, пока юркий половой принесет заказанное, со скучающим интересом принялся рассматривать содержимое сего заведения. При этом лицо его выражало лишь брезгливую бесстрастность важного барина, по ошибке попавшего в деревенский кабак.

Интеллигентной наружности скрипач с чрезмерной натугой выжимал из струн поистине мировую скорбь и кручину. Хотя в партитуре романса значилось: «Грустно», а в начале нотной строки застыли сразу два бемоля, скрипач решил привнести в мелодию третий, а если хватит сил, то и четвёртый. Немолодой и не вполне успешный исполнитель-тапёр в белой сорочке и модном жилете с мелким рисунком по мере сил пытался противостоять скрипачу, иногда извлекая из рояля несколько весёлых нот, и делая музыку не такой смертельно тоскливой. Перед этим дуэтом неспешно двигалась дама в длинном платье с чересчур глубоким декольте, возраст которой застыл на пороге между второй и вечной молодостью, когда принца искать уже поздно, а за кого попало ещё рано... Низким, на грани контральто и баритона, голосом она с виолончельной певучестью неспешно тянула:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.